

ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

АВТОПОРТРЕТ: РОМАН
МОЕЙ ЖИЗНИ

Владимир Войнович

Автопортрет: Роман моей жизни

«ФТМ»

2009

Войнович В. Н.

Автопортрет: Роман моей жизни / В. Н. Войнович — «ФТМ», 2009

Сенсационный мемуарный роман от самого остроумного и бескомпромиссного классика отечественной литературы Владимира Войновича! "Автопортрет. Роман моей жизни" - это яркая, художественная автобиография, в которой Владимир Войнович честно и остроумно пишет историю эпохи, в которой ему выпало жить, любить, горячо заботиться о Родине и быть отвергнутым ею, перенести невольную мучительную эмиграцию и получить награду Лауреата Госпремии по литературе. "Автопортрет. Роман моей жизни" - книга искренняя и точная. Атрибуты времени, черты характеров, привычки и даже особенности речи - все это не только замечено, но и гармонично подано автором. Что же до искренности - Войнович рассказывает о том, чему был свидетелем, рассказывает "так, как было" - не выпячивая свои заслуги, не затушевывая те поступки, которые можно оценить не только с положительной стороны.

© Войнович В. Н., 2009

© ФТМ, 2009

Содержание

Предисловие	6
Часть первая	7
Сопротивление материала	7
Враг народа и малолетний Владимир	7
Ходжент	10
Первая любовь	12
Тетя Паня	13
Еще о Гале	13
Люди и животные	13
Папа в командировке	14
Корни	14
Дедушкины мельницы	16
Кто написал «Хобот»?	16
One of each	17
Добрый дедушка	18
Татарка	19
Край света	20
А у нас дедушка умер	20
Родинка	20
Дедушка Калинин	21
Идеалист, проповедник, аскет	22
Жгучая тайна	23
Первый и единственный	24
Вторая семья	24
Война	27
Собаки, вредители и шпионы	28
Эти мерзавцы	30
Эвакуация	32
Степь да степь кругом	32
Цоб-цобэ	34
Я умру	38
Змея с кружочками	38
Суровая зима	40
Ворошилов и Пулька	41
Гала	42
Борьба с природой	42
Петр Первый и советская власть	43
Споры о Пилате	44
Первая книга	45
Раненый, но живой	46
Богатые калмыки и бедный еврей	46
Вторая эвакуация	46
Несостоявшийся подвиг	47
Мама приехала	49
И папа вернулся	49
Знаки судьбы	50

Коверкотовый костюм	51
Городская вошь, куда ползешь?	52
Еще один пропущенный класс	52
Всем хорошим во мне	53
Избиение утят	54
Красное – Зелененькое	54
Друг мой, Гулька	55
Не убий	55
Умные люди	56
Умение быстро записывать	56
Две мамы	57
Генами обреченный	57
Погоны и рукоприкладство	58
Сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя	59
Когда я был съедобен	60
Вареное сало	61
Новый гимн	61
Фирменное блюдо	61
Новое путешествие	62
Первый учитель	63
Догадки и сомнения	64
Прилетели гули...	65
Как Вова полол морковь	65
Спарганское воспитание	66
Язык, понятный телятам	67
По законам военного времени	68
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Владимир Войнович

Автопортрет: Роман моей жизни

Предисловие

Намерение написать автобиографию развивалось во мне постепенно и вначале как ответ на попытки разных людей по недоброжелательству или неведению изобразить события моей жизни, мои побуждения, поступки и дела в желательном для них виде. Реакцией на подобные домыслы стали когда-то мои книги «Иванькиада» (1976), «Дело № 34840» (1992) и «Замысел» (1994). Однако в тех книгах я рассказал только об отдельных эпизодах своей жизни, а к полному жизнеописанию меня побудила газета «Новые известия», с которой я некоторое время плодотворно сотрудничал. Прервал я это сотрудничество, когда понял, что за заданным темпом не поспевал, и мои тексты не всегда совмещались с газетными возможностями: то не влезали, то были слишком короткими. Тем не менее я остался благодарен газете и ее главному редактору Валерию Якову, подвигнувшему меня на это сотрудничество.

В конце концов вот написал все, как было. Может быть, отдельные факты перепутал, но намеренно не врал. Изобразил ли я себя таким, каков есть на самом деле? Не знаю. Большинство людей имеют слабое представление о своей анатомии. А тем более о своих физических, умственных и душевных возможностях. Мнение человека о самом себе – это всего лишь одно из мнений. Оно бывает порой настолько необъективным, что может быть приравнено к лже-свидетельству. Но в том случае, когда человек к объективности более или менее честно стремится, его представление о себе вряд ли будет вполне адекватным. Потому что себя самого он знает лишь приблизительно и в большинстве случаев увеличить это знание даже не пытается.

Я пытался.

Лет с двадцати.

Поэтому мою биографию можно считать не только чередой находок, потерь, иллюзий, разочарований, накоплением опыта и чем-то еще, но и растянувшейся на всю жизнь попыткой самопознания, что лишь частично отражено в этой книге.

Часть первая

Соппротивление материала

Враг народа и малолетний Владимир

Только прожив много лет, начинаешь всерьез понимать, что жизнь действительно коротка. Жаловаться мне вроде бы не пристало. От своей длинно-короткой жизни я получил гораздо больше того, чего ожидал вначале. Но, может быть, меньше того, на что был рассчитан. Потому что в начале жизни никаких талантов в себе не отмечал, да и родители мои ничего такого во мне тоже не видели. Мама, боясь, очевидно, впасть в распространенные родительские преувеличения, часто говорила: «Я знаю, что у моих детей (у меня и у младшей сестры Фаины) никаких особых способностей нет». Нет, так нет, и я все детство и юность провел, ни к чему не стремясь, беря от жизни только то, что она мне подсовывала, не надеясь на сколько-нибудь интересное будущее. В известном анекдоте один человек спрашивает другого: «Рабинович, вы умеете играть на скрипке?» Ответ: «Не знаю, не пробовал». Ответ смешной, но не лишенный смысла. Для того, чтобы понять, можете ли вы играть на скрипке, надо хоть сколько-нибудь поучиться, попробовать. Меня в детстве не учили играть на скрипке, не водили на каток, не записывали в драмкружок, изостудию или в хоккейную секцию. И вообще судьба недодала мне кое-чего, обделенность чем я чувствовал всю жизнь. Тем более что судьба недодала мне чего-то такого, недостаток чего я чувствовал всю жизнь. Учился я нормально только в первом классе, а потом еще два месяца в деревенской школе, три года в вечерней школе рабочей молодежи и из десяти классов средней школы окончил пять: первый, четвертый, шестой, седьмой и десятый. Полтора года ходил в педагогический институт за стипендией. Лекции посещал редко, а когда посещал, то слушал, но не слышал, – голова была занята другим. Из известных мне литераторов моего поколения, кажется, только Владимир Максимов учился еще меньше меня. Но заменой формальному образованию стал для меня тот жизненный опыт, который Горький назвал своими университетами. В этих университетах я научился пасти телят, запрягать лошадь, управлять волами, сторожить огород, а впоследствии овладел профессиями столяра, слесаря и авиа-механика и узнал о жизни много подробностей, неизвестных людям, окончившим нормальные учебные заведения.

Есть сложившееся мнение, что для любого писателя важна его душевная привязанность к тому, что называется малой родиной. Он может писать о чем-то, казалось бы, совершенно не связанном с его личной биографией, но все равно за всем, что он пишет, маячат околица, или крылечко, или березка, или подъезд, соседи, школа, товарищи, любимая учительница. В моей памяти таких примет не сохранилось, потому что до двадцати четырех лет ни на одном месте я долго не задерживался и, только попав в Москву, осел в ней, за вычетом девяти лет эмиграции, можно сказать, навсегда. А до Москвы менялись города, деревни, гарнизоны, школы, соседи, товарищи, наречия, природа и ее дары. Урюк в Таджикистане, паслён в Ставрополье, брусника и клюква на кочках вологодского леса, вишня ведрами на запорожском базаре. Могилы родных тоже раскиданы. Один дед похоронен в Ленинабаде, другой – на Донбассе, одна бабушка – в Запорожье, другая – в городе Октябрьский в Башкирии, мама – в Орджоникидзе (не во Владикавказе, а в более чем захолустном городке Днепропетровской области), папа – в Керчи, сестра – в Запорожье, жена – в Мюнхене, дочь Марина – в Москве. На могилах дочери и жены я бываю регулярно, остальные не посещаю годами по недостатку возможностей, утешаясь тем, что после меня ухаживать за ними все равно будет некому и они запустеют. Сейчас или через

десять лет – для вечности, в которой они пребывают и где я скоро к ним присоединюсь, разница небольшая. Да и что с моей могилой будет, меня мало волнует.

Но мне еще повезло. У меня были мать и отец, бабушки-дедушки, а с отцовской стороны известны даже очень отдаленные предки. А вот мой друг Миша Николаев вырос, не имея о родителях никакого представления. У него были причины думать, что их обоих в 37-м году расстреляли, но кто они были и хотя бы как их звали, он пытался узнать, но не узнал, и всю жизнь так и прожил под фамилией, данной ему в детдоме. В детдоме дорос до армии, из армии попал в лагерь и просидел около 20 лет. Потом Миша написал книгу про детдом и не знал, как назвать. Моя жена Ира посоветовала так и назвать: «Детдом», что он и сделал. А я ему советовал написать трилогию: «Детдом», «Дурдом» и «Заключение». Мише мой совет понравился, но воспользоваться им он не успел...

Однако вернусь к себе. Родился я 26 сентября 1932 года в Сталинабаде, бывшем и будущем Душанбе, столице Таджикистана. Отец мой, Николай Павлович, в то время работал в республиканской газете «Коммунист Таджикистана», в 1934 году был первым редактором областной газеты «Рабочий Ходжента» (впоследствии «Ленинабадская правда»). Мать моя, Роза Климентьевна Гойхман, работала с ним. Я обычно в автобиографии указываю, что мать была учительницей математики, но учительницей она стала позже... В 1936 году отец вернулся в газету «Коммунист Таджикистана» на должность ответственного секретаря. Летом того же года отца арестовали за, как было сказано, пр/пр (преступления), предусмотренные статьей 61 УК Таджикской ССР или 58/10 УК РСФСР – антисоветская агитация и пропаганда.

Забегу вперед. В феврале 1992 года я пытался добыть в КГБ мое дело об отравлении меня в 1975 году агентами госбезопасности в гостинице «Метрополь» (об этом подробно в книге «Дело № 34840»). Дела не добыл, но, чтобы отвязаться от меня, гэбисты, приложив некоторые усилия, нашли в Ташкенте (не знаю, как они там оказались!) и привезли в Москву две пожухлые, выгоревшие, облезлые, залапанные сотнями рук папки. Дело номер 112 по обвинению Глуховского, Хавкина, Салата и Войновича в контрреволюционной деятельности.

У меня было слишком мало времени для изучения папок, поэтому первыми тремя обвиняемыми я интересовался не очень и сосредоточил все свое внимание на четвертом – Войновиче Николае Павловиче, бывшем члене ВКП(б), бывшем ответсекретаре газеты «Коммунист Таджикистана», ныне без определенного места жительства и определенных занятий, ранее не судимом, женатом, имеющем сына Владимира четырех лет. Изъятое при аресте имущество: трудовой список, разная переписка, 2 записные книжки, газета «Коммунист Таджикистана», № 158 36-го года, и квитанция № 43801 на вещи в камере хранения Казанского вокзала города Москвы. Насчет остального имущества в «Анкете арестованного» вопросы сформулированы так: «...7. Имущественное положение в момент ареста. (Перечислить подробно недвижимое и движимое имущество: постройки, сложные и простые с.-х. орудия, количество обрабатываемой земли, количество скота, лошадей и прочее.) Ответ: Нет. 8. То же до 1929 года. Нет. 9. То же до 1917 года. Нет». Не было имущества ни в момент ареста, ни до 29-го, ни до 17-го годов.

А что касается обвинения, так вот...

Тихим июньским вечером того же 1936 года в «ленинской комнате» воинской части сидели трое, пили чай, как водится, мечтали о светлом будущем. И один из них, начальник штаба лагерных сборов Когтин (в протоколе допроса указано: грамотный, образование «нищее»), выразил мнение, что коммунизм в одной отдельно взятой стране построить нельзя. Мой отец (грамотный, образование 3 класса реального училища) с Когтиным согласился. Третий участник разговора, инструктор политотдела Заднев (грамотный, образование высшее), своего мнения не имел, но потом решил, что высказывания первых двух носят враждебный нашему строю характер, о чем счел необходимым, как он сам показал, сообщить «в соответствующие органы». Заднева работники КГБ просили меня не упоминать, руководствуясь гуманными соображениями. Чтобы возможные потомки доносчика моими записками не были бы ненаро-

ком травмированы. Я подобной заботы о ранимых потомках не разделяю. Я не мстителен, у меня нет желания сводить счеты с Задневым, который вряд ли еще жив, и нет нужды огорчать его родственников, но фамилии называть надо. В назидание теперешним и будущим сволочам, которые должны понимать, что они ответственны перед собой, перед своей фамилией и перед потомками, которым потом, может быть, придется либо гордиться, либо стыдиться своих корней.

Что случилось с необразованным Когтиным, я не знаю, но отец был уволен с работы, арестован и причислен к группе таких же активных контрреволюционеров и троцкистов, как сам. Всей группе из четырех человек и каждому ее участнику по отдельности были предъявлены обвинения в активной антисоветской деятельности.

Дело номер 112 содержит два тома – 279 и 195 листов. Постановления, протоколы допросов и очных ставок, показания, собственноручно написанные и собственноручно подписанные. Там есть обвинения в развале работы в редакции и в отказе публиковать статьи против врагов народа, но главное вот это: «контрреволюционное троцкистское высказывание о невозможности построения коммунизма в одной отдельно взятой стране».

Отца арестовали в Москве, куда он ездил добиваться правды, оттуда перевезли по этапу из Москвы в Сталинабад, и полтора года, днем и ночью, люди скромных чинов и высоких рангов повторяли один и тот же вопрос: «Следствие располагает данными, что вы, будучи на лагсборе в 1936 году, июнь месяц, среди работников штаба и политотдела допустили явную контрреволюционную троцкистскую трактовку о невозможности построения в одной стране коммунизма. Дайте следствию показания, от кого вами заимствованы эти формулировки». Вопрос задается бесконечное количество раз, и отец бесконечно отвечает: «Эти формулировки я ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения».

Изо дня в день, из ночи в ночь одно и то же: «Вы сказали, что не верите в построение коммунизма». А он каждый раз вносит в протокол уточнение: «полного коммунизма». Причем не вообще когда-нибудь, а в условиях капиталистического окружения. «Формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Виновным себя ни в чем не признаю. Может быть, стоило почитать кое-какие теоретические труды по этому поводу, но формулировки свои. Ни у кого не заимствовал. Говорил о невозможности построения не вообще коммунизма, а полного коммунизма в условиях капиталистического окружения, но в возможности построения неполного коммунизма не сомневался». – «А вот Заднев показывает, что вы говорили не о полном коммунизме, а о коммунизме вообще». – «Нет, я говорил только о полном коммунизме, а что касается Заднева, то он человек образованный, у него, как он сам всегда говорит, высшее философское образование, он мог бы нас с Когтиным поправить, но он этого почему-то не сделал». – «Вы говорили, что Литвинов троцкист?» – «Нет, я говорил, что Литвинов пьяница, но что троцкист, не говорил». – «На городской партийной конференции вы повторили свои контрреволюционные утверждения о невозможности построения в одной стране...» – «Нет, на городской партийной конференции я говорил не о возможности построения коммунизма вообще, а о возможности построения полного в одной отдельно взятой стране в условиях капиталистического окружения».

Я спрашивал отца, пытали ли его, он говорил – нет, если не считать того, что допросы были намеренно изнуряющие – по ночам, с наведением на подследственного слепящего света.

В июне тридцать седьмого года следствие было закончено и передано в суд. Трое подсудимых признали свою вину, отец не признал. Чем начал, тем и кончил: «Виновным себя ни в чем не признаю». Тем не менее всех четверых готовили... к чему бы вы думали? Конечно же, к смертной казни. Но наступала первая перестройка, оттепель, либерализация, возвращение к ленинским нормам. Специальная коллегия Верховного суда Таджикистана заседала в январе 1938 года, как раз в те дни, когда в Москве проходил знаменитый январский Пленум ЦК

ВКП(б), на котором было сказано о допущенных органами НКВД перегибах. Железный нарком Ежов был заменен еще не железным Берией. Началось (хорошая формулировка того времени) **разбирание**, в результате которого выяснилось, что в работе НКВД имелись определенные отдельные недостатки. В Москве аукнулось, в Душанбе откликнулось: четверем преступникам, высказавшим где-то кому-то какие-то мысли, был определен срок заключения: троим, признавшимся в своих преступлениях, – по десять лет лагерей, а отцу, непризнавшемуся, – всего лишь пять.

При вынесении отцу приговора суд учел смягчающие его вину обстоятельства (возможность построения коммунизма подсудимый отрицал лишь частично), а также низкий образовательный уровень подсудимого, наличие у него малолетнего сына Владимира и руководствуясь «революционным правосознанием и принципами пролетарского гуманизма».

Подсудимый, превратившись в осужденного, поехал на Дальний Восток, а малолетний Владимир остался с мамой, бабушкой Эней Вольфовной и дедушкой Климентом (это имя было переименовано на русский лад из Колмана, а отчества дедушки я не знал и до сих пор не знаю). Вскоре после ареста отца вместе с перечисленной родней Владимир переехал в город Ленинабад, где по будням посещал детский сад, учил буквы по плакату «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», а в выходные дни ходил с бабушкой в женскую баню.

Не знаю, когда у отца наступило прозрение, до или после ареста, но из тюрьмы он каким-то образом ухитрился передать моей матери посвященное ей стихотворение с заключительным выводом: «Там, за этой тюремной стеною, твоя жизнь безнадежно черней».

Ходжент

Не веря во врожденные способности своих детей, мама не верила и в отдельные их проявления. И, очевидно, поэтому с видимым раздражением относилась к моим словам о том, что я помню, как мы в моем раннем детстве попали в автомобильную аварию (по-нынешнему ДТП).

– Ты никак не можешь этого помнить, – говорила она сердито, – тебе тогда не было и трех лет.

На мой вопрос, откуда же я тогда знаю то, о чем говорю, она никакого подходящего ответа не находила, но соглашалась, что такая авария имела место. Мы ехали в открытой легковой машине, шофер Борисенко притормаживал на поворотах и сигнализал, но встречный автомобиль выскочил на полном ходу из-за скалы. От удара нашу легковушку отбросило, и мы чуть не опрокинулись в пропасть, а ударившая нас машина, не остановившись, умчалась. Подробностей я, конечно, не помню, но память сохранила удар и облако пыли.

Мне мои самые ранние воспоминания после аварии легко приблизительно датировать, деля их на две половины. Первая половина, до лета 1936 года, была прожита в Душанбе, как раз перед моим рождением переименованном в Сталинабад, а вторая, до мая 1941 года, протекла в Ходженте, переименованном в Ленинабад непосредственно накануне нашего туда переезда.

Из жизни в Сталинабаде я вывез постепенно угасающее воспоминание о няньке тете Зине и тряпичной кукле, названной в ее честь тоже Зиной. И еще – как меня снимали на редакционном балконе газеты «Коммунист Таджикистана». Фотограф, суя голову в черный мешок, обещал, что из объектива вылетит птичка, и я был очень огорчен, что птичкиного вылета не заметил, и даже хотел не из тщеславия, а исключительно ради птички, надеясь на этот раз не проморгать, сняться второй раз, но второго раза не случилось. Фотография была сделана до ареста отца, значит, не позже весны 1936-го, то есть мне было, примерно, три с половиной года.

От той неувиденной птички сохранился большой снимок лобастого мальчика в матросской курточке, держащего в руках журнал «Пионер» с фотографией рыболова на обложке. На том балконе мне удалось еще раз поохотиться за птичкой шестьдесят восемь лет спустя, когда я с журналистом Олегом Панфиловым навестил свою родину по случаю семидесятилетия

газеты «Ленинабадская правда» (так был переименован «Рабочий Ходжента», и новое название сохранилось поныне).

Из душанбинского детства запомнились мне редкие катания с отцом на велосипеде, не очень удобный, но ни с чем не сравнимый способ передвижения на раме. А еще поездки с уже упомянутым редакционным шофером Борисенко в открытом автомобиле. Ветер бил в лицо, сзади струилась пыль, а шофер тешил меня и себя песней: «Эх, яблочко, куда котишься, попадешь ко мне в рот, не воротишься».

Вспоминается и такое: я перехожу дорогу, а на меня надвигается большой, красивый, коричневый, лакированный, страшный «ЗИС-101» со сверкающим никелем радиатором, огромными фарами, и я знаю, что в этом «ЗИСе» едет злой человек, враг народа Абдулло Рахимбаев. Он ездит специально, чтобы давить маленьких детей, и меня он тоже хочет задавить.

Тут в виде одного воспоминания выступают два, слившихся воедино. Должно быть, я видел машину, она меня восхитила и напугала, когда ее пассажир был еще не врагом народа, а председателем Совета народных комиссаров республики. Но потом он стал врагом народа, и тогда мне стало ясно, для чего он ездил по улицам на своем коричневом «ЗИСе».

Тогда Ходжент оставался почти таким, каким был и за тысячу лет до того, – одноэтажным, с грязными арыками, пыльными тополями и толстыми акациями, которые, как почти-тельно утверждало предание, были посажены Александром Македонским. И ничего удивительного: город и при мне жил, как до нашей эры.

Что-то и из новых времен там уже было. Железная дорога, редкие автомобили и бипланы «У-2», при появлении которых дети приходили в радостное возбуждение и выкрикивали что-то вроде обращенной к небу считалки: «Эроплан, эроплан, посади меня в карман. А в кармане пусто, выросла капуста...» – и дальше в том же духе. А на земле основными приметами пыльных улиц, дворов и базаров оставались верблюды, волы, ослы, бездомные собаки, слепой с лицом, побитым оспой, прокаженный с колокольчиком на шее, чайхана, таджики в стеганых халатах и с голыми брюхами, таджички с лицами, закрытыми паранджой из конского волоса.

Из обуви помнятся ичиги – мягкие сапоги очень хорошей кожи, без подошв, и галоши, блестящие, с красной ворсистой подкладкой и пупыристыми подошвами. Богатые люди ходили в ичигах с галошами, победнее – носили ичиги без галош, еще беднее – галоши без ичигов, а совсем бедные не имели ни ичигов, ни галош.

Это было время, когда люди ездили в пролетках и фаэтонах, белье стирали на ребристых стиральных досках, его же колотили толстыми рубчатými кусками дерева и полоскали в реке. В чугунных утюгах с зубастыми крышками, какие теперь можно видеть только в музеях, раздували древесный уголь, простуженное горло полоскали керосином, а зубы драли так, что слышно было в другом квартале. Мелкие торговцы развозили по дворам на ишаках жвачки: кусок вара – пять копеек, кусок парафина – десять. На тех же ишаках прибывали к нам во двор восточные сладости: петушки, тянучки и самое вкусное блюдо на свете – что-то сбитое, кажется, из яичных белков с сахаром и еще с чем-то, белое, как снег, густое, как тесто, и сладкое, как сама сладость, под таджикским названием мишоло, переименованным русскими в мешалду.

На ишаках же, иногда запряженных в двухколесные тележки (а чаще в мешках, перекинутых через спину), возили молоко, уголь, дрова, да чего только не возили! На ишаке привезли нашему соседу, начальнику НКВД Комарову, мотоцикл, упакованный в деревянный ящик со стружками. На ишаках с зазывными криками разъезжали точильщики ножей и ножниц, лудильщики кастрюль и старьевщики.

Наша улица тянулась вдоль берега реки Сырдарьи и называлась Набережная. Между улицей и берегом была еще булыжная мостовая (с арыками по обе стороны), за ней луг, а уж за ним река, отгороженная от луга насыпной дамбой против наводнений. Берег был песчаный, поло-

гий, там женщины купались в трикотажных рейтузах с резинками под коленями и в полотняных стеганых лифчиках, а мужчины либо в кальсонах, либо совсем нагишом – входя в воду или выходя, прикрывали причинное место ладонями. А на лугу, готовясь к битвам с мировым империализмом, тренировались кавалеристы в фуражках с опущенными под подбородок ремешками. Они скакали на лошадях, преодолевали препятствия и рубили лозу, взмахивая длинными, сверкающими на солнце шашками.

Мир, повторю, в целом оставался таким, каким был и при Александре Македонском. Мощность армии все еще измерялась количеством штыков или сабель. И в этой стране одержимые безумной идеей люди намеревались завоевать весь мир и путем насилия создать самое справедливое и процветающее общество.

Первая любовь

Не знаю, устроено ли это было намеренно, но в той части Ходжента, где обитала наша семья, жили исключительно русские. Таджиков я воспринимал как иностранцев и встречал только за пределами этой части, не считая моей подружки Гали Салибаевой, а также мелких торговцев, нищих, сумасшедших и прокаженных, которые иногда забредали и к нам.

С Галей я дружил, и очень тесно. Мы ходили всегда вместе, взявшись за руки, она в таджикском шелковом платье с разноцветными расплывчатыми узорами, а я в коротких штанишках со шлейками и поперечными перемычками, в длинных чулках в рубчик, которые прикреплялись к ноге одним из двух одинаково неприятных способов. Либо резинкой, натягиваемой на ногу чуть выше колена, либо с помощью специального пояса вроде того, что носили когда-то женщины, с резинками и застегками. Первый способ был неудобен тем, что резинка постоянно съезжала и падала вниз, к щиколотке, а за нею туда же соскальзывал и чулок, второй же способ постоянно напоминал мальчику, что он еще не вполне полноценное существо и на него можно натягивать что кому вздумается, в том числе и предметы женского туалета.

Когда мы с Галей куда-нибудь шли, мальчишки из нашего и других дворов подбегали, загораживали нам дорогу, приплясывали, корчили рожи и выкрикивали: «Тили-тили тесто, жених и невеста, тесто засохло, а невеста сдохла. Жених плакал, плакал и в штаны накакал». Я огорчался, иногда даже готов был кинуться на дразнильщиков с кулаками, но Галя меня удерживала, утешала и обещала: «Когда ты вырастешь большой, я на тебе женюсь, а когда ты будешь старенький, я буду давать тебе таблетки и порошки и греть грелку».

В детском саду, под транспарантом с благодарностью товарищу Сталину, располагался большой портрет товарища Сталина, который держал на руках девочку, сам смеялся и смешил ее, щекоча ее правую щеку своим левым усом. Эта девочка-таджичка по имени Мамлакат, похожая на Галю, была немногим старше нас, но уже широко прославилась тем, что первая в мире догадалась убирать хлопок двумя руками, а не одной. Воспитательница тетя Паня рассказывала нам, что Мамлакат, достигнув очень больших успехов в уборке хлопка, была приглашена в Москву, в Кремль, где дедушка Калинин лично вручил ей орден Ленина, а Сталин поднял ее на руки.

Глядя на портрет, я завидовал, огорчался и думал, что, если бы меня послали на хлопок, я бы не хуже Мамлакат догадался убирать его двумя руками. Ведь додумался же я своим умом, что, если буквы, которым меня научила бабушка, приставлять одну к другой, из них сложатся слова. И с радостью убедился, что прав, прочтя то, что написано на транспаранте, название газеты «Известия» и вывеску «Продовольственный магазин». Так что я тоже не самый глупый мальчик и до двух рук сам бы непременно додумался. И тогда Сталин меня тоже поднял бы на руки.

Тетя Паня

По праздникам – 23 февраля, 1 мая и 7 ноября – к нам в детсад приводили кавалериста со шпорами на сапогах и с длинной саблей на боку. Он рассказывал нам о героической истории Красной Армии, о боях с коварными басмачами и давал потрогать саблю, впрочем, не вынимая из ножен. Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей: о втором съезде РКП(б), о взятии Зимнего дворца, о коварных происках троцкистско-бухаринской оппозиции, и только наша воспитательница тетя Паня читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков.

Тетя Паня, как я заметил, почему-то отличала меня от других и иногда во время обеда сажала за стол рядом с собой. Раза два или три она с разрешения мамы забирала меня на выходные дни к себе домой, где жила вместе со своей матерью. Там обе женщины развлекали меня и готовили мне обед, усаживали меня за стол, как взрослого, вернувшегося с тяжелой работы мужчины, и смотрели с умилением, как я ем.

Только став взрослым, я понял, что тетя Паня и ее мать жалели меня, потому что я жил без папы. Они, вероятно, знали, где был мой папа и почему.

Еще о Гале

Галю Салибаеву, свою подружку раннего детства, я помнил всю жизнь, и лет через тридцать с лишним после того, как мы расстались (а тогда нам было по восемь лет), был рад узнать, что и она меня не забыла. В семьдесят каком-то году мой друг Камил Икрамов (он еще не раз появится на этих страницах) зашел ко мне перед очередной поездкой в Среднюю Азию. Обычно он ездил на родину своего отца в Узбекистан, но на этот раз собирался по каким-то делам завернуть и в столицу соседней республики Душанбе. Я к нему обратился с нелепой на первый взгляд просьбой – найти некую Галю Салибаеву.

– А как, где, по каким признакам или приметам я буду ее искать? – спросил Камил. – Ты знаешь хотя бы, чем она занимается или кто ее родители?

Точно я ответить не мог, но мне помнилось (и это было все), что ее отец как будто работал в Ленинабаде директором какой-то школы. Данных было слишком мало, чтобы на что-то надеяться. Но Камил из командировки вернулся с известием, которому сам был удивлен: Галю он нашел, и это было нетрудно. Она жива-здоровая, хорошо меня помнит, передает привет и рада была бы встретиться.

– Но тебе вряд ли захочется встретиться, потому что она замужем и муж ее Председатель Верховного суда Таджикистана.

Если иметь в виду, что я в описываемое время был диссидентом, то есть лицом, пребывавшим практически вне закона, наша встреча вряд ли была бы приятна и ей. Прошло еще много лет, и в конце девяностых годов меня в Москве нашел по телефону муж Галиной дочери. Сказал, что Галя недавно умерла, но пока была жива, время от времени меня поминала и рассказывала домашним о нашем детском романе.

Люди и животные

Ходжент ввиду частых землетрясений был почти весь одноэтажный, таким был и наш дом, длинный, похожий на барак, но с отдельными, отгороженными друг от друга двориками – каждый на две семьи. В этих двориках жильцы разводили цветы и летом спали среди цветов на открытом воздухе. Моя кровать стояла рядом с кроватью моего друга Женьки Чепенко. Ложась спать, мы шепотом вели между собою нескончаемые дискуссии о том о сем. Например, о том,

можно ли саблей перерубить толстое дерево. Или Женька начинал спорить, что он старше меня, потому что он тридцать первого года рождения, а я тридцать второго. С чем я никак согласиться не мог, точно зная, что тридцать два больше, чем тридцать один. Память о наших разговорах перед впадением в сон под низко висящими крупными звездами была бы приятной, если бы не укус скорпиона, которого я во сне случайно коснулся рукой. Боль от укуса была столь велика, что остаток ночи я бегал по двору и орал, перебудив всю округу.

Кроме отдельных двориков, было еще пространство между нашим домом и сараями, как бы общий двор, где водилась в больших количествах всякая живность, включая свиней, коз, кур, кошек и собак. Собаки все были бездомные, но опекаемые людьми: они жили у нас у всех, приходили в плохую погоду и ложились в коридоре. Иногда прибежали, поджав хвосты, прижимались к стене и мелко-мелко дрожали. Это значило, что вскоре во дворе появятся мерзкие люди – собачники, а с ними телега с клеткой, где уже воют отловленные животные, из которых потом, как говорили, изготовят вонючее черное мыло. Нашим собакам удавалось спастись, и когда опасность миновала, они проявляли известную деликатность и уходили во двор.

Папа в командировке

В Ленинабаде, чем стал очень скоро Ходжент, мы жили сначала вчетвером: бабушка, дедушка, мама и я. Папа остался в Сталинабаде и у нас не появлялся. Поначалу меня это не удивляло: будучи журналистом, он и раньше пропадал, иногда подолгу. Но в конце концов я заметил, что отсутствие отца затягивается, и стал спрашивать у мамы, где папа. Мама отвечала: папа в командировке. Шло время, я все реже спрашивал, где папа, но, когда спрашивал, ответ всегда был один: папа в командировке.

Однажды я прибежал домой в слезах, когда мать была дома. Она кинулась ко мне:

– Что случилось?

– Мокрица сказал, что мой папа сидит в тюрьме, что он враг народа.

– Кто сказал? Мокрица? А ну-ка, пойдем!

Моего обидчика по прозвищу Мокрица, который был старше меня года на полтора, мы нашли во дворе. Увидев мою разъяренную маму, он попытался залезть на акацию. Мама подпрыгнула, стащила его на землю и схватила сразу за оба уха.

– Ты зачем говоришь, что наш папа в тюрьме? Наш папа в командировке. Это все знают, что наш папа в командировке. Ты понял, негодяй? Наш папа в командировке. Где наш папа?

– В командиловке! – проорал потрясенный Мокрица и зарыдал.

Я ходил в детсад, потом в школу, а командировка отца все никак не кончалась. Облик его в моей памяти стал постепенно размываться, и одно только я помнил хорошо: у него была родинка справа над верхней губой.

Корни

Гордиться своими предками так же глупо, как и своей национальностью, но знать свою родословную, если есть такая возможность, по крайней мере, интересно.

В начале семидесятых годов двадцатого века в Америке вышла и стала бестселлером книга Алекса Хейли «Корни» (Roots). Чернокожий автор искал в Африке и нашел сведения о своих отдаленных предках, которые, хотя вряд ли берегли свою генеалогию, какую-то память о себе все же оставили. После этой книги многие американцы кинулись копать в своих родословных. Примерно то же произошло и в России с некоторым запозданием. Советские люди часто своих корней не знали и знать не хотели или, зная, но, будучи непролетарского происхождения, скрывали, зато после крушения советского строя розыски родословных стали популярны, как кладоискательство.

Мне ничего искать не пришлось. Уже когда я был в эмиграции и жил под Мюнхеном, бывший артиллерийский полковник из Югославии Видак Вуйнович прислал мне книгу своего сочинения: «Войновичи, Войиновичи, Вуйновичи и Вуйиновичи», где наше общее родословие расписано начиная с 1325 года. Родоначальником нашей фамилии был некто Воин, князь Ужицкий, воевода и зять сербского короля Стефана Дечанского. После него по мужской линии в нашей ветви известны все члены рода до единого, включая меня и моего сына Павла. Что меня больше всего удивило, что я всего лишь 16-й потомок этого человека. Всего-навсего. Вот полный список моих предков по отцовской линии. У Воина были три сына: Милош, Алтоман и Войислав. Через Войислава род продолжился так: Стефан—Дейан—Джуро—Милош—Воин—Вуйо—Милош—Воин—Александр—Шпиро—Никола—Павел—Николай – и я. Если представить, что каждый член нашего рода знал деда, отца, себя, сына и внука (что вполне возможно), то три человека могли лично знать всех живших в течение шести с половиной веков. На территории бывшей Югославии национальность человека чаще всего определяется его религией, что наглядно демонстрирует род Воина. Второй его сын Алтоман, став взрослым, принял ислам, то есть превратился, насколько я понимаю, в боснийца. В девятнадцатом веке историк Коста Войнович «покатоличил» (то есть перешел в католики) и говорил о себе так: «Я по рождению серб, по мировоззрению хорват, а по вере католик». Сыновья его Луйо и Иво уже считались просто хорватами. Но дочери Луйо Ксения и Марица вернулись в православие и стали опять сербками. Иво считается хорватским писателем, классиком. Все его творчество проникнуто идеей слияния сербов, хорватов и словенцев в единый народ. Кажется, именно он был инициатором того, чтобы общий язык сербов и хорватов назывался не сербским и не хорватским, а сербохорватским. Некоторые потомки Воина сами стали родоначальниками. От Алтомана пошли Алтомановичи, от одного из Милошей – Милошевичи. А еще от разных потомков Воина пошли Войиславовичи, Сердаровичи, Лаличи, Дондичи и проч., и проч., и проч.

Воин был, наверное, самой важной персоной в нашем роду, но и после него были люди, прославившиеся на том или ином поприще: писатели (Иво Войнович из них самый известный), генералы и адмиралы итальянские, австрийские, русские. Были даже венецианские дожи. Один австрийский генерал упоминается в «Похождениях Швейка». Два адмирала Войновича служили в России одновременно в XVIII веке. Йован участвовал в Чесменском сражении под водительством Потемкина, Марко командовал Каспийской флотилией, потом первым на Черном море линейным кораблем «Слава Екатерины», а затем и всем Черноморским флотом (его сменил Ушаков). Главная пристань Севастополя, названная Графской в его честь, как ни странно, даже в советское время сохранила свое название. Мои предки поближе были не столь именитыми, но тоже моряками. Прапрадед Шпиро (Спиридон) на Адриатике в Которской бухте имел собственный флот, его отец Александр был капитаном и градоначальником города Херцег-Нови, шесть сыновей Шпиро были капитанами дальнего плавания. Во второй половине XIX века все шестеро пришли в Россию и здесь остались. Мой прадед Николай Спиридонович никаких дворянских званий уже не имел, но стал Почетным гражданином Одессы. На нем и на его братьях морская линия Войновичей прервалась, его дети стали людьми сухопутными. Мой дед Павел Николаевич родился в 1877 году в Одессе, но затем жил далеко от моря, в городе Новозыбков – до революции Черниговской губернии, а потом Брянской области, там родился и мой отец.

Предки мои были во многих поколениях многодетны: у Александра было шесть дочерей и четыре сына, у Шпиро – шесть сыновей и одна дочь, у прадеда Николы – шесть сыновей, у деда Павла – два сына и дочь, у моего отца – сын и дочь, у меня – две дочери и сын. Сын пока не женат, и, если у него не будет сына, эта ветвь нашего рода исчезнет. По мере захирения нашего рода истощалось и благосостояние. От флота, которым владел Шпиро, его сыновьям досталось по кораблю, а одному из его внуков – моему дедушке – ничего не перепало.

По семейному преданию, дедушка рос очень застенчивым мальчиком и заикался. Стеснялся заикания, бросил школу, за что родителями был лишен наследства. Может, оно и к лучшему. Пережил революцию, гражданскую войну и в 1935 году пятидесяти восьми лет от роду умер своей смертью. А слишком умных, образованных, богатых да к тому же иностранного происхождения большевики убивали.

Дедушкины мельницы

Моих предков по материнской линии я не знаю никого дальше дедушки с бабушкой, евреев из местечка Хацеваты Гайворонского уезда Одесской губернии. Мой еврейский дедушка (насколько я помню мамины рассказы) был человеком малограмотным, но управлял мельницей. Мама говорила «управлял», и я думал, что он был управляющим, но через много лет после смерти мамы я встретил одного нашего престарелого родственника, который мне сказал: «Твой дедушка Колман был голова и имел три собственные мельницы в Одесской губернии».

Теперь понятно мне, почему в двадцатых годах (опять не очень ясный мамин рассказ) чекисты арестовали его, пытали и отбили почки, требуя выдать спрятанное золото. Не знаю, было ли у него это золото (может быть), выдал ли он его (наверное, выдал), но от прошлого состояния при мне уже не было никаких следов и никаких благородных металлов, не считая дедушкиного серебряного портсигара, маминих золотых коронок и маминих воспоминаний о том, что дедушка любил хорошо одеваться и любимой его поговоркой была: «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи».

Все эти рассказы никак не вяжутся с образом бедного старика, оставшимся в моей памяти.

Другой дедушка, Павел Николаевич, которого я совсем не помню, был мелким железнодорожным служащим в городе Новозыбков. Его жена Евгения Петровна служила народной учительницей и получала жалованье 30 рублей в месяц. Не знаю, сколько получал дед, но знаю, что они имели трех детей и держали прислугу.

Происхождением Евгении Петровны я при жизни ее не интересовался, а теперь и спросить некого, кроме моего двоюродного брата Севы, но он и сам не знает почти ничего. Кажется, она была дочерью полицмейстера Тирасполя. Когда перед самой войной мы с ней встретились, у нее от прошлой жизни еще оставалось несколько вилок-ложек фамильного серебра, на них было выгравировано «Мировъ». Еще я слышал, что фамилия отца ее была Моргулец, и не слышал, а знаю, что родной брат ее звался Ивановым.

Кто написал «Хобот»?

У меня накопилась большая коллекция смешных казусов, связанных с моей фамилией.

Когда-то, получив первый более или менее крупный гонорар, я купил себе мотоцикл и пошел сдавать на права. Я очень хорошо подготовился, на все вопросы отвечал четко, чем и расположил к себе экзаменатора, майора милиции. Он взял мою карточку, прочел стоявшую там фамилию, переспросил:

– Войнович? – и посмотрел на меня очень благожелательно. – Известная фамилия. Писатель есть такой.

Я только за месяц до того напечатал свою первую повесть (гонорар был как раз за нее) и не ожидал, что слава придет так быстро. Я скромно потупился и согласился, что такой писатель действительно есть.

– И хороший писатель! – уверенно сказал майор. – Очень хороший! – И не успел я достаточно возгордиться, он уточнил: – Войнович написал книгу «Овод».

Это было не первый и не последний раз. В детстве, помню, подошли ко мне две женщины с вопросом, не мой ли папа написал «Овод». Я сказал, что не знаю. Они спросили, а как зовут папу. Я ответил:

– Николай Павлович.

– Ну, вот видишь, – торжествуя, сказала одна из женщин другой, – я же тебе говорила, что он.

Третий случай был связан с местом в кооперативном гараже. Мест этих было меньше чем заявлений, поэтому правление кооператива обсуждало каждую кандидатуру и затем решало вопрос в соответствии с чином заявителя, состоянием здоровья (инвалидам – предпочтение) и заслугами перед обществом. Когда очередь дошла до меня, один из членов правления, генерал милиции, поинтересовался: «А кто это?» Председатель правления сказала: «Вы разве не знаете? Это писатель». «Ах, этот! – вспомнил генерал. – Да за что же ему место, если он ничего кроме «Овода» не написал?

Кто-то засмеялся, а образованная председательница, скрывая улыбку, сказала:

– Ну уж место-то в гараже за «Овода» можно дать.

Вопрос был решен в мою пользу, и я несколько лет пользовался удобством, предоставленным мне за чужие заслуги.

Случай еще интересней был связан с моим соседом по коммунальной квартире пенсионером Александром Ивановичем Печкиным. Он книг моих не читал, но время от времени сообщал мне, что встретил мою фамилию в газете или отрывном календаре. А однажды просунул голову ко мне в дверь и сказал, скромно покашляв:

– По радио передают ваше произведение «Хобот».

– Как? – удивился я.

– «Хобот», – повторил сосед и удалился.

Я точно знал, что никаких «хоботов» не писал. Так что же это могло быть? Я включил радио, но, пока шарил по эфиру, искомая передача подошла к концу и диктор сказал:

– Мы передавали отрывки из романа Этель Лилиан Войнич «Овод».

Сначала моего отца, а потом меня многие люди подозревали в авторстве или родстве с автором «Овода», и только одна женщина, кассир в Хабаровском аэропорту, имела приблизительное представление о возрасте и половой принадлежности истинного автора.

– Извините, – смущенно полюбопытствовала она, выписывая мне билет, – это не ваша мама написала «Овод»?

Меня с Этель Лилиан путали много раз. Но прошло время, и однажды молодой человек, спрошенный, не читал ли он роман Войнич «Овод», ответил, что этого автора он знает только по книге о солдате Чонкине.

Признаться, такая путаница мне показалась более лестной, чем прежние.

One of each

За границей меня с автором «Овода» не путали, потому что роман этот там мало известен, но в разных странах к моей фамилии отношение было разное. Немцы ее легко запоминают и, в отличие от русских, даже правильно произносят – с ударением на первом слоге. А вот многим американцам запомнить мою фамилию, а тем более правильно произнести бывает практически не под силу. Так же, впрочем, как и другие имена и фамилии славянского происхождения. Однажды в Принстоне, где я прожил около года, зашел я в местную копировальню размножить какие-то свои тексты. Тогда копировальные машины были еще громоздкие и слишком дорогие для частных пользователей, поэтому приходилось обращаться к услугам копировальных контор. Так вот пришел я делать копию, и человек, там работавший, спросил меня:

– Ваша фамилия Войнинионович?

Мне не хотелось возражать, и я сказал:

– Ну да, что-то вроде этого.

– Вот, – сказал он удовлетворенно. – Вашу фамилию я запомнил быстро. Но у меня ушло несколько лет на то, чтобы правильно произносить Солзеницкий.

И еще один эпизод, который зачем-то описал покойный Сергей Довлатов. Но поскольку это факт моей жизни, а не Довлатова, я хочу, чтобы он был известен читателю по первоисточнику.

Мы с женой, будучи в Нью-Йорке, посетили моего литературного агента Джорджа Боршардта. Мне нужны были срочно копии издательских договоров, а у агента, как назло, сломался ксерокс или, как они это называют, «зирокс». Одолжили документы на время, пошли опять же в копировальню. Тамошний работник взял мои бумаги, посмотрел на меня и спросил (с ударением на последнем слове):

– ВойновИч?

Я удивился, что он меня узнал, но не настолько, чтобы прыгать от радости до потолка. Я не тщеславен и к тому, чтобы быть узнаваемым где попало, никогда не стремился. Я даже подумал, уж не собирается ли этот человек сказать мне, что он читал «Овод», и ответил настороженно:

– Да, это я.

Он опять спросил:

– ВойновИч?

Я еще больше удивился. Я же ему сказал, что я это я. Он что, глухой?

И только услышав вопрос в третий раз, я понял его.

– One of each? – спрашивал он, то есть (в русской транскрипции приблизительно «ван оф ич») «С каждого листа одну копию?».

Мне эта история показалась забавной, и я где-то ее описал. Зачем Довлатов пересказывал ее своими словами, я его спросить не успел.

Добрый дедушка

Дедушку своего, мамино папу, я очень любил. Я его любил за то, что он был моим дедушкой, за то, что ни в чем мне не отказывал, качал меня на ноге и давал курить папиросы. А заслышав в коридоре шаги, испуганно отбирал окурки: «Мама идет!»

Он же подарил мне раскрашенную картонную лошадь, которая была названа Зиной, в честь куклы Зины, бывшей до лошади моей единственной игрушкой. Лошадь была с колесиками, и я на ней ездил, отталкиваясь от пола ногами. А когда (и не так уж редко) случались землетрясения, Зина по комнате скакала сама.

До поры до времени я обращался с лошадью гуманно, но однажды, пожелав узнать, что у нее внутри, разорвал ей морду по вертикальному шву и был очень разочарован. Внутри у нее не было ничего, кроме того же картона, но даже не крашеного, а просто и как попало покрытого засохшим клеем с подтеками. Стоило ли ради такого открытия портить великолепную лошадь? Тут надо еще и то отметить, что, надругавшись над лошадью, я ее сперва жалел, обнимал и просил прощения, но потом знание того, как она выглядит изнутри, очень меня к ней охладило, даже и кататься на ней не хотелось.

Дедушка часто чем-то болел и постоянно принимал касторку в желтых желатиновых облатках, сладких и приятных на вкус. Картонная коробка с этими облатками обычно стояла на тумбочке перед дедушкиной кроватью, я иногда до нее добирался и одну-две облатки заглатывал. Это, очевидно, вызывало в моем организме определенную реакцию, но я причину и

следствие между собой не связывал и к чему именно приводило употребление касторки, не запомнил.

Я курил не только в присутствии бабушки, но порой и тайком, воруя папиросы у него же и у мамы. Курил, а окурки бросал в разорванную лошадиную пасть.

Татарка

В нашем доме поселилась татарская семья, из которой я запомнил только старуху. Она ходила по дорожке вдоль нашего дома, постукивая клюкой, сгорбленная, косматая. Лицо у нее было перекошено, изо рта торчали два зуба, из-под седых косм проблескивала розовая лысая макушка.

Она была страшна, как ведьма, и все дети ее боялись. При ее появлении шептали друг другу: «Татарка!» – и вели себя тихо, пока она не пройдет мимо.

Само это слово «татарка» таило в себе, как мне казалось, какой-то непонятный зловеющий смысл. Мы все ее боялись, а где боязнь, там и ненависть, которую мы с моим другом Женькой Чепенко решили проявить.

Приготовили несколько камней, залезли на крышу сарая, стоявшего у самой дорожки, по которой ходила татарка. Стали ждать и дождались. Татарка появилась на дорожке. Постукивая клюкой, словно слепая, она медленно приближалась. Мы каждый взяли по камню и приготовились. Вот старуха поравнялась с сараем, вот она его миновала. Я не помню, что сделал Женька, но я размахнулся и кинул свой камень...

Всю жизнь помню, как этот камень летел и как я в эти секунды кому-то взмолился, чтобы он пролетел мимо. Но он мимо не пролетел. Он попал старухе точно в то место, где розовела проплешина.

Прошло с тех пор столько времени, что страшно сказать, а я все помню, как старуха выпустила клюку, схватилась за голову, присела и как жутко кричала. Вот и сейчас, мне кажется, тот крик буравит мои барабанные перепонки.

Помню и то, как мы с Женькой сползли с крыши на другой стороне сарая, и у меня дрожали руки и подгибались ноги от страха, что я старуху убил и вообще совершил что-то ужасное.

К счастью, ничего страшного не случилось. Старуха покричала, подобрала клюку, поднялась и пошла дальше. И потом постоянно появлялась на той же дорожке. Была она по-прежнему безобразна, но я помнил ее жуткий крик и понимал, что она никому никакого вреда принести не может. Тем не менее, встречая ее, каждый раз холодел от страха, что она узнала, кто кинул тот камень.

Допускаю, что, несмотря на укоры совести, старуха в конце концов ушла бы из моей памяти, но случилось вот что. Я сидел как-то дома один и цветными карандашами пытался нарисовать землетрясение. В дверь постучали, я открыл и увидел татарку. Обнажив свои два зуба, она улыбалась и протягивала мне старую тряпичную куклу с рыжими волосами, сделанными из чего-то вроде пакли.

– Что это? – спросил я, отступив и прижавшись спиной к стене.

– Это тебе, – сказала старуха. – Это подарок. У меня внучка померла, это осталось. Ты возьми, внучка будет рада.

Старуха ушла, а я прижимал куклу к себе, гладил ее конопляные волосы и плакал. Мне было жалко старуху, жалко ее умершую внучку и жалко себя за то, что я такой негодяй.

Эта кукла была, насколько я помню, моей последней в жизни игрушкой и второй куклой. Эту куклу я назвал, конечно, Зиной. И очень ею дорожил. Но такой любви, как к первым трем Зинам, все-таки не испытывал.

Край света

Мне тоже однажды попало по голове, и даже посильней, чем татарке. Мы с тем же Женькой Чепенко играли в войну, и он в пылу сражения ударил меня трубой. Очнулся я на высокой больничной койке у окна.

Мне долго не разрешали вставать, я целыми днями смотрел в окно и ничего интересного не видел, кроме забора, выкрашенного ядовито-зеленой масляной краской. Но от забора я не мог оторвать взгляда, точно зная, что им отгорожен край света. Но что за этим краем, я просто представить себе не мог.

Потом, когда мне разрешили гулять во дворе, я кинулся к этому забору, нашел в нем дырку, приложил к ней глаз и был очень разочарован.

За краем света росли пыльные лопухи, и по ним ползали мухи, точно такие же, как и в нашем мире.

А у нас дедушка умер

Вскоре после меня в ту же больницу попал и мой дедушка. Я ожидал, что он скоро вернется, но получилось не так. Я играл во дворе, когда там появилась мама:

– Вова, я должна тебе сказать, что наш дедушка умер.

Умер дедушка!

Я знал уже, что у других людей какие-нибудь родственники умирали. А у нас – ну никто. И вдруг такое сообщение. Остаться равнодушным я, конечно, не мог и, завидев проходившего мимо Женьку, закричал:

– Женька! А у нас дедушка умер!

Только потом, когда привезли гроб и поставили посреди двора на две табуретки и я увидел дедушку, бледного, с закрытыми глазами, и он, когда я его позвал, не открыл глаза, не улыбнулся мне и ничего не сказал, я понял, что случилось нечто непоправимое и ужасное.

Мама и бабушка безутешно рыдали, и я рыдал вместе с ними, а потом еще плакал каждый раз, когда вспоминал, что дедушка умер.

И когда бывало так, что где-то я разыгрался, почему-то смеюсь и не могу остановиться, я вспоминал, что у меня умер дедушка, и сразу испытывал такое горе, что не до смеху.

Долго-долго многое из того, что я видел, напоминало мне об умершем дедушке.

P.S. Как я потом понял из маминых рассказов, дедушка умер от болезни почек, которые были отбиты у него в 20-х годах чекистами, искавшими золото.

Родинка

В первом классе я учился, по выражению тети Наташи Касаткиной, из рук вон ужасно. Причина состояла не в том, что я был слишком туп, а в том, что несколько забежал вперед и на уроках бывало скучно. Ну, в самом деле, какой может быть интерес читать обязательно по складам (так требовала учительница) «Ма-ма мы-ла ра-му» мальчику, который давно уже знал грамоту настолько, что мог читать бегло газетные заголовки, вывески магазинов и рассказ Льва Толстого «Филиппок»?

Но самые ужасные мучения доставляли уроки чистописания, где меня учили писать с правильным наклоном и аккуратным нажимом, и я, в попытке достижения этой цели, выворачивал язык чуть ли не до самого уха, но никак не мог палочку, проводимую пером «Пионер», совместить с косой линейкой тетради. Линейка косилась в одну сторону, палка в другую,

а иной раз и ни в какую, поскольку из-под пера «Пионер» вытекала и замирала фиолетовым головастиком жирная дрожащая клякса.

Результаты моих усилий оценивались учительницей однообразно, с употреблением наречия «очень». «Очень плохо!» – писала она красными чернилами с замечательным наклоном и идеальным нажимом.

За этими регулярными «очень» могли иметь место очень неприятные физические последствия в виде домашних колотушек, но я, будучи мальчиком сообразительным (очень, очень), по дороге из школы домой обнаружил некое здание, а в нем подвал с открытой форточкой, куда и сплавлял регулярно и целиком тетради по чистописанию, благо в те времена они стоили всего две копейки. Я опускал тетради в это окно точно так же, как окурки в морду лошади Зины. Не учтя того, что тетради, в отличие от окурков, были не безымянны (на каждой из них было хорошо, с наклоном и нажимом написано: «Тетрадь по чистописанию ученика 1-го класса «А» Войновича Вовы») и что Вова будет очень скоро разыскан обитателями подвала, которые доставят тетради в школу, а затем находку продемонстрируют и Вовиной маме. И у Вовы будут очень, очень большие физические неприятности.

Впрочем, надо признать, что мама по недостатку времени занималась мной нерегулярно. Днем она училась в педагогическом институте, а вечером работала. Когда она уходила в институт, я еще спал, когда она возвращалась с работы, я уже спал. Иногда, впрочем, между учебой и работой мама забегала домой, и тогда мы коротко виделись во время обеда.

Как раз в тот день так и было. Мама пришла, мы пообедали и разошлись: мама на работу, а я на двор, к сараям, где, оседлав свинью Машку, пытался овладеть приемами верховой езды. Во время этой тренировки прибежал Мокрица и сообщил, что меня спрашивает некий дядя.

Дядя оказался каким-то небритым оборванцем. На нем была старая и довольно рваная, с торчащими из нее клочьями грязной ваты телогрейка и стоптанные рыжие солдатские бутсы, прошнурованные шпагатом.

– Ты Вова? – спросил оборванец, странно усмехаясь.

– Вова.

– А как твоя фамилия?

Я сказал.

– А где ты живешь?

Я показал.

– Ну, пойдем к тебе.

Я повел его к себе домой, поминутно оглядываясь и вглядываясь в его заросшее жесткой щетиной лицо.

Во дворе бабушка развешивала белье. Увидев приведенного мною бродягу, она ахнула:

– Коля!

И, бросив белье, повисла у оборванца на шее. А я кинулся вон со двора.

Мать была уже далеко, но я все-таки догнал ее.

– Мама! Мама! – закричал я. – Иди домой, папа приехал!

Мама ахнула, закричала и прислонилась к стене глинобитного дома. Потом опомнилась, посмотрела на меня и уже тихо сказала:

– Что ты выдумываешь!

– Правда! Правда! – захлебывался я. – Это папа. У него вот здесь родинка.

Дедушка Калинин

Пока отец сидел в лагере, мама писала письма Председателю Президиума Верховного Совета СССР, или, как его называли, Всесоюзному старосте дедушке Калинин, которого уверяла, что муж ее хороший советский человек, сердцем и душой преданный партии, правитель-

ству и лично товарищу Сталину. Она не знала, что жена Калинина тоже сидит в лагере, и он, будучи формально главой государства, не может освободить даже ее. Не зная этого, мама была уверена, что слова ее в конце концов дошли до дедушки и растрогали его. У нее были основания предаваться такой иллюзии. В сороковом году дело моего отца, как и многих других, было пересмотрено. Новый суд нашел, что его высказывание о невозможности построения полного коммунизма в одной отдельно взятой стране было результатом не осознанного враждебного умысла, а незрелой политической мысли. Тем не менее отца продержали в лагере почти до конца срока, после чего он был не только освобожден, но даже реабилитирован, и в мае вернулся домой. Я, пять лет веривший маме, что наш папа в командировке, был потрясен его видом: я не так представлял себе людей, возвращающихся из командировок. Правда, я не представлял себе их никак. Но на другой день, когда отец отмылся, побрился и переоделся в хранившийся все пять лет коверкотовый костюм, то сразу стал таким, каким я его смутно помнил.

Отца, как я узнал, уже будучи взрослым, не только реабилитировали, но даже предложили ему вернуться в партию, от чего он решительно отказался. «В вашу партию, – сказал он секретарю обкома или горкома, – больше никогда в жизни». Когда отец рассказал о своем разговоре маме, она схватилась за голову. Она была уверена, что его не сегодня-завтра опять арестуют и дедушка Калинин больше ей не поможет. Оставаться отцу в Ленинабаде – значит рисковать новым сроком. И мать с отцом договорились, что он возьмет бабушку и меня, бабушку отвезет в Вологду к маминому брату Володе, а мы поедем в город Запорожье, где жила с мужем, матерью и двумя сыновьями сестра отца Анна Павловна.

Идеалист, проповедник, аскет

Мой отец родился в 1905 году, 15 мая, а, по народному поверью, каждому, кто рожден в мае, суждено всю жизнь маяться. Не знаю, как насчет других, но в приложении к отцу поверье сбылось полностью, он маялся всю свою жизнь, хотя она и оказалась более долгой, чем можно было ожидать, – он умер через десять дней после своего 82-го дня рождения.

По взглядам он был идеалист, по склонности души – проповедник, по характеру – скромник, а по образу жизни – аскет.

Я знал очень многих людей, призывавших других к исполнению моральных законов, которые сами призывавшие не блюли. И я не знал никого, кто бы, как мой отец, так неукоснительно и до крайностей следовал собственным нравственным установлениям. Он был уверен, что жестокость, проявляемая человеком к человеку, начинается с закалывания свиньи. Сам он не только не ел мяса, но не носил ничего мехового и кожаного: ни воротника на пальто, ни ботинок, ни ремня, ни ремешка для часов. Он исключил из своего рациона рыбу, яйца и молоко. Еще удивительнее, что он не употреблял в пищу фрукты, считая их излишней роскошью, и овощи, кроме картошки и капусты. Да и во всем остальном не давал себе поблажек: спал на жестком, умывался ледяной водой. Он и меня с младенчества пытался склонить к спартанскому образу жизни, приводя в пример исторических личностей, из которых князь Святослав клал под голову седло, а генералиссимус князь Суворов предпочитал шинель перине. «Хлеб да вода – молодецкая еда» – была любимая присказка отца. И еще того же рода наставление: «Держи живот в голоде, голову в холоде, ноги в тепле. Избегай докторов и будешь здоров». Отец обижался, когда я называл его взгляды утопией...

Он пережил все, что выпало на долю его поколения: и голод, и холод, и тюрьму, и войну, с которой вернулся инвалидом. После войны работал в мелких газетах на низких должностях за малую зарплату, а потом получал и вовсе мизерную пенсию, но этого ему, как он сам считал, вполне хватало на все. Он остался идеалистом. Я вырос скептиком. Ни в какие рецепты скорого

улучшения общества смолоду не верю и считаю, что все утопии при попытке внедрения в жизнь приводят человека к еще большему озверению...

Жгучая тайна

Я очень редко расспрашивал отца о его детстве, юности, молодости и войне, а сам он не любил о себе слишком распространяться и не внял моим настояниям написать мемуары. Мама говорила, что был он в молодости веселым, общительным, готовым ко всяким проказам, любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромнен, и если ему в кои-то веки (точнее, во все веки всего один раз) покупался хороший костюм, то, прежде чем выйти на люди, катался в нем по полу: костюм не должен был выглядеть слишком новым.

Он был человеком всерьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще. Кому-нибудь другому это могло сойти с рук, но не ей. Отец написал немедленно приказ: уволить! И уволил.

Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм, но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды, уже в конце жизни, он сказал, что сидел в лагере не зря. «Я, – сказал он, – состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан». О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в каком-то из российских уездов, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян «излишков продовольствия». Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал: «Не пущу!» В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало «за проявление гнилого либерализма».

После возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким, каким выглядел по описаниям матери. Он был невеселым, необщительным, не выпивал, не заводил и не имел друзей. При своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен (вот уж чего я от него совершенно не унаследовал). Посторонним о себе не рассказывал, да и перед близкими душу не выворачивал. Прошлого поминать не любил, а тот факт, что он сидел, вообще держался в тайне от посторонних и от меня тем более, хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день сорок первого года, когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца. Потом я о чем-то сам догадался, кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны и годам примерно к четырнадцати в тайну эту был полностью посвящен.

Но как это обычно бывает: то, что скрывают родители, ребенок тоже держит при себе. Родители мне ничего не говорили, и я делал вид, что ничего не знаю, вплоть до моего возвращения из армии, когда мне было уже двадцать три года. Тогда был приготовлен особый ужин, во время которого сначала затронута, а потом развита соответствующая тема, что не все (нет, увы, не все) в нашей стране устроено так хорошо, как изображается в газетах, и столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того, чтобы подойти к фразе: «Знаешь, Вова, мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказать, но теперь ты можешь сам разобраться...»

Так, наверное, в прошлом веке добропорядочные родители, готовя к замужеству свою созревшую дочь, смущенно открывали ей, откуда берутся дети. И бывали смущены еще больше, узнав, что дочь не столь наивна, как ожидалось, и сама может их кое в чем просветить.

А все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни. Например, о дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году.

Первый и единственный

У меня в памяти смутно брезжат ночные отца с матерью разговоры шепотом, смысла которых я, может быть, не понимал, но чувствовал, что дело неладно.

– Ну что, Вова, – сказал мне как-то утром отец бодрым голосом и с улыбкой, которая слабо гармонировала с общим напряжением лица, – ты любишь путешествовать?

Я не знал, что значит путешествовать, он мне объяснил. Путешествовать – это значит шествовать по пути или, точнее, ехать на чем-нибудь, например на поезде, очень долго и далеко. Я уже ездил однажды на поезде из Сталинабада в Ленинабад, а теперь мы поедем гораздо дальше. Поедем втроем. Он, я, и еще возьмем с собой бабушку. Бабушку, мамину маму, мы отвезем в Вологду к ее сыну и моему дяде Володе. А сами поедем к другой бабушке, папиной маме, на Украину.

– А мама поедет? – спросил я.

– Нет, мама пока останется здесь. Она ведь учится в институте. Она доучится и тоже приедет к нам в Запорожье. Запорожье – это очень большой город на Украине. Ты таких больших городов еще не видел. А бабушку ты видел, но, наверное, не помнишь.

Нет, я не помнил. И даже не знал, что у человека бывает по две бабушки и по два дедушки. Мне казалось, что бабушек и дедушек должно быть, как пап и мам, только по одному. А больше даже и не нужно. Теперь же получался какой-то странный, но интересный обмен. Одну бабушку мы сдадим, а другую получим. Отец говорит, что эту другую бабушку я видел, когда мне было десять месяцев. А теперь мне восемь лет с лишним. Я большой мальчик, я почти окончил первый класс. Еще несколько дней, и мне дадут справку, что я его окончил. И мне почему-то это важно. Мне очень хочется иметь эту справку. Но мне ее не дадут. Потому что мы (это я, конечно, узнал потом) уезжаем, стараясь привлечь к себе поменьше внимания. Так что справку за первый класс я так и не получил. А жаль. Потому что этот класс был первым и единственным в нормальной школе, где я учился от начала и почти до самого конца.

Вторая семья

Во времена моего детства передвижение по железной дороге было большим событием для каждого, кто решался пуститься в путь. Отъезжающие и провожающие прощались долго и обстоятельно, произносили напутственные слова, потом замолкали, не зная, что бы еще сказать самого важного (ничего, кроме общих банальностей, на ум не приходило), и ожидание отправления становилось томительным. Но наконец дежурный в красной фуражке ударял в колокол, паровоз отзывался нетерпеливым гудком и выпускал с шипеньем пары, поезд с лязгом расправлял суставы и начинал двигаться. Отъезжающие высовывались в окна, а провожающие прикладывали к глазам платочки и затем бежали, бежали вдоль отходящего поезда, спотыкаясь, натываясь на фонарные столбы и нелепо взмахивая руками.

А потом – дни и ночи пути, сопряженного с известными трудностями и приключениями, с выскакиванием на станциях за снедью, с очередями у кранов с холодной водой и с кипятком, с вечным страхом отстать от поезда.

Путешествие наше в мае 1941 года было долгим. Сначала пересекли всю страну снизу вверх и из лета поспели к ранней весне. Потом спустились вниз и вернулись опять в лето.

Вот из памяти извлеклась картинка: серое здание вокзала и надпись крупными косыми буквами «Запоріжжя», перрон, газетный киоск, будка с незнакомыми словами «Взуття та панчохи», тележка с газированной водой, милиционер в белом кителе, с пашкой на боку и свистком на шее, и семейство, застывшее, как на старинном дагерротипе: мужчина и женщина, оба в белом и оба в соломенных шляпах, старушка в темном платье в белый горошек и два круп-

ных подростка в майках, в холщовых штанах и в парусиновых тапочках. Как только наш вагон поравнялся с картинкой, она вдруг ожила, превратившись из фотографии в немое кино, и эти дядя, тетя, старушка и подростки побежали рядом с вагоном, взмахивая руками и улыбаясь.

А потом объятия, поцелуи взрослых и ахи:

– Ах, какой большой мальчик? Ах, неужели уже восемь лет? В сентябре будет девять? И уже кончил первый класс? Ах, какой молодец!

Подростки и дядя в шляпе подхватили наши узлы, и мы все пошли к выходу с перрона. Мы – это мы с отцом, бабушка Евгения Петровна, сестра отца тетя Аня, ее муж дядя Костя Шкляревский и их дети Сева и Витя, пятнадцати и тринадцати лет. А потом красно-желтый трамвай, весело позванивая на поворотах и рассыпая искры, вез нас через весь город, увешанный афишами предстоящих гастролей Владимира Дурова и его зверей. Я не знал, кто такой Дуров, и думал, что это, наверное, какой-то дурной мальчик, который или нехорошо себя вел, или плохо учился, за что его называли Дуровым и будут показывать народу вместе со зверями.

Запорожье оказалось очень большим индустриальным городом. ДнепроГЭС, Запорожсталь, Днепроспецсталь и много всяких других заводов, включая «Коммунар», производивший в те времена комбайны «Коммунар», а потом переключившийся на автомобиль «Запорожец». Еще был завод номер 29, про который все знали, что он секретный, что никому нельзя знать, что на нем именно производится, и все знали, что на нем производятся именно авиационные двигатели.

Почти все запорожцы, как я позже заметил, были местными патриотами, гордились тем, что их город такой необычный. Он делился на несколько основных частей: старая часть, новая часть, село Вознесенка, Павлокичкас и остров Хортица, где была когда-то Запорожская Сечь. А на правом берегу есть еще село Верхняя Хортица, там в описываемое время жили немцы из бывших колонистов.

До революции Запорожье называлось Александровском в честь Александра Первого. Александра Второго, проезжавшего здесь на поезде по дороге из Крыма, народоволец Желябов хотел взорвать, но не сумел. Запорожцы гордились всеми составными этой истории: и что царь здесь проезжал, и что именно здесь его хотели убить, и что именно здесь его не убили.

Еще гордились тем, что все или многое здесь было самое-самое. Самая крупная в мире гидроэлектростанция, самый крупный в Европе кинотеатр и самый старый в мире, в Европе или на Украине (не помню точно, где именно) дуб, который назывался дубом Махно.

Название пошло от того, что будто бы батько в тревожные минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался, не подбирается ли к нему исподтишка коварный враг. Все это, конечно, чистая чепуха, потому что дуб этот и поныне стоит среди других дубов в дубовой роще у Днепра. Не знаю, как батько, но я на этот дуб залезал и могу сказать определенно, что с него ни в бинокль, ни без бинокля ничего нельзя увидеть, кроме других таких же дубов. Тем не менее я во все рассказанные мне легенды охотно поверил и сам стал гордиться славной историей города, его блистательным настоящим и великолепным будущим.

Часть города состояла из пятнадцати рабочих поселков. Самый главный из них, шестой поселок, где жили Шкляревские, примыкал к плотине ДнепроГЭС, был самым современным из всех и имел второе название: соцгород.

Здесь было много такого, чего я никогда раньше не видел. Семья Шкляревских занимала отдельную квартиру с электрическим освещением, паровым отоплением и горячей водой. Меня больше всего поразили ванная и другое чудо индустриальной эпохи – ватерклозет. До Запорожья я не представлял себе, что такие удобства возможны. Еще одним чудом был для меня тети-Анин радиоприемник (кажется, он назывался «Си-235») со светящейся шкалой. По приемнику можно было слушать не только советские, но и иностранные передачи.

В Запорожье было интересно и то, что здесь не только дети, но и взрослые чуть ли не каждый день играли в войну. Чаще всего по вечерам. Чуть стемнеет, как начинают завывать

со всех сторон, словно волки, сирены, железный голос диктора разносится по всему городу и, наталкиваясь на стены домов, рассыпается на уходящее в невнятицу эхо:

– Граждане, воздушная тревога... евога... вога... ога...

Граждане тут же, опасаясь штрафов, торопливо выключали в квартирах свет. Уличные фонари тоже гасли, после чего город теоретически должен был бы погрузиться во мрак. Но практически этого не случалось. Потому что как раз во время затемнения где-то далеко за восьмым поселком пышно разгоралось освещавшее полгорода зловещее багровое зарево – это на Запорожстали выливали расплавленный шлак.

Во время тревоги мы, не зная, сколько она продлится, хватали заранее приготовленные узлы с одеялами и подушками и бежали прятаться в железобетонные бомбоубежища, оборудованные в подвалах некоторых домов. Это тоже было обязательно. Милиция могла проверить и оставшихся дома опять-таки оштрафовать.

Взрослых эти тревоги раздражали, а мне нравились. В бомбоубежищах сходилась много народу, взрослого и невзрослого, здесь велись самые разные и порой очень интересные разговоры.

В Запорожье было еще и то хорошо, что у меня здесь сразу появились два брата. Пусть двоюродных, но зато старших. Раньше, когда меня обижали, я жалел, что у меня нет старшего брата. В крайнем случае согласен был даже на младшего. И просил маму, чтобы она родила мне братика. Мама этого не сделала. Но теперь было все в порядке. Сева, конечно, был слишком старше, он мне внимания много не уделял, зато с Витей мы подружились, и нападать на меня он не позволял никому.

А желающие напасть уже тогда возникали на моем пути, и нередко. Одного такого субъекта моего же примерно возраста встретил я в середине дня по дороге от одного подъезда к другому. Он играл сам с собой в игру, которая у нас, в Средней Азии, называлась лянга, а здесь – маялка. Клок козлиной или заячьей шкурки с пришитым к ней грузиком из свинца надо подкидывать одной ногой или двумя поочередно, не давая упасть на землю. Именно этим делом, и с большой ловкостью, занимался мой сверстник. Он отбивал эту маялку и громко считал:

– Сто четыре, сто пять, сто шесть...

Тут как раз появился я. Он на миг отвлекся и на сто седьмом ударе маялку потерял. Но не огорчился. Положил маялку в карман и загородил мне дорогу.

– Здорово! – сказал он и протянул мне свою грязную руку.

– Здорово! – сказал я и протянул ему свою, тоже не очень чистую.

Я еще не дотянулся, а он свою руку быстро убрал и, тыча пальцем в небо, сказал: «Там птички летают». Я посмотрел туда, куда он указывал, но птичек никаких не увидел.

– Здорово! – сказал он опять и опять протянул мне руку.

– Здорово! – отозвался я удивленно и повторил то же движение... Он свою руку тут же убрал и стал большим пальцем тыкать куда-то за ухо.

– Там, – сказал он, – собачки бегают.

– Где? – спросил я, никаких собачек не обнаружив.

– Здорово!

– Здорово! – попался я третий раз на тот же крючок.

– Вот глупый человек, – сказал он, убирая руку. – Куда ж ты руку тянешь? Ты ее мыл? А ты знаешь, как козлы здороваются?

– Нет, – сказал я, – не знаю.

– А вот так! – Он неожиданно нагнулся и резко боднул меня головой в живот. Я упал навзничь, ударился затылком об асфальт и заорал. В это время из подъезда вышел Витя. Он схватил моего обидчика за шкурку и предложил мне сделать с ним то, что тот сделал со мной. Я нагнулся и хотел тоже ударить его головой в живот, но тут со мной что-то случилось: моя голова не захотела мне подчиняться. Я пробовал его ударить рукой, пнуть ногой и делал над собой

некие волевые усилия, но тело меня не слушалось. Это привело меня в такое замешательство, что я заплакал и засмеялся одновременно. Мне казалось, что смеюсь я потому, что вот со мной старший брат, который всегда готов меня защитить и с которым я могу отомстить любому, кто посмеет меня обидеть. А плакал я оттого, что мой организм не позволял мне осуществить свою волю. Потом в детстве моем много раз случалось, что меня били, а я не мог дать сдачи, потому что мои руки не подчинялись моим желаниям. И не только руки.

Возле нашего дома для каких-то строительных дел была привезена и насыпана у подъезда куча песка. Мальчишки, в том числе и мой брат Витя, обрадовались – поднимались по лестнице, вылезали через окно на козырек подъезда (на уровне второго этажа) и с криком, визгом сигали в песок.

Я, конечно, – туда же. Подошел к краю козырька, приготовился, напряг мышцы и... и ничего. Опять тело не хочет мне подчиняться. Я пробовал так и эдак, то жмурил глаза, то разжмуривал. То подходил к самому краю, то отходил и пытался прыгнуть с разгона. Я смотрел, как прыгают другие мальчишки. Ведь это совсем невысоко и совсем не страшно. Ведь ничего, ну ничего не может случиться. Я опять поднимался по лестнице, вылезал на козырек, разогнался, но у самого края останавливался как вкопанный. Мне не было страшно, я видел, что здесь убиться нельзя, я был уверен, что со мной ничего не может случиться, и все-таки какая-то сила не давала мне пошевелить ни одним мускулом.

Случай этот, может быть, ерундовый, стал причиной моих дальнейших сомнений в самом себе и некоторых усилий по их преодолению. Десять лет спустя, вылезая с парашютом на крыло зависшего на восьмисотметровой высоте самолета «По-2», я хотел доказать самому себе, что той силе, которая помешала мне прыгнуть с высоты второго этажа в песок, я больше не подчинен.

Война

День 22 июня был очень жаркий, и мы все, кроме бабушки, то есть отец, тетя Аня, дядя Костя, Сева, Витя и я, поехали на остров Хортица купаться. Тогда Днепр был еще полноводным и прозрачным, светлый песок не замусорен, и дно мягкое, но не вязкое. Все было бы хорошо, но из-за жары нам пришлось переместиться к кустам, там меня стала грызть мошकारа, я поднял скандал, и, кажется, из-за этого мы вернулись домой раньше обычного. Дома встретила нас бабушка с мокрыми глазами.

– Что случилось? – спросила ее тетя Аня.

– Война, – сказала бабушка и зарыдала.

Я удивился. Что за горе? Война, как я видел ее в кино, это дело хорошее, это интересно, это весело: кони, сабли, тачанки и пулеметы. Музыка играет, барабаны бьют, красные стреляют, белые бегут.

Уже во второй половине того же дня взрослые вышли с лопатами копать по всему городу щели – так назывались траншеи для укрытия от бомбежек. Всем было приказано оклеить окна полосками бумаги, которые, как предполагалось, в случае бомбежки защитят окна от взрывной волны.

– Какой идиотизм! – сердилась тетя Аня. – Какие бомбы? Где Германия и где мы? Эти мерзавцы опять выдумывают всякие небылицы, чтобы пугать народ.

Всюду исключительные строгости насчет светомаскировки. Когда нет тревоги, светом пользоваться можно, но только при очень плотно зашторенных окнах.

Специальные дружинники ходят вдоль домов, следя, чтобы ни малейший лучик не просочился наружу. Говорят, что милиционеры, видя свет, тут же стреляют по окнам.

В разных частях города появились грузовики с установленными на них зенитными батареями, мощными прожекторами и звукоуловителями, похожими на огромные граммофоны.

Чуть ли не на следующую ночь загудели сирены, и знакомый голос диктора объявил воздушную тревогу, теперь не учебную. Мы с бабушкой были отправлены в бомбоубежище, а остальные члены семьи укрылись в щелях.

Бомбоубежище – подвал соседнего дома. Там куча-мала: старики, старухи, дети и инвалиды. Все, как и раньше, пришли с одеялами и подушками, а иные с прочим скарбом. Тесно, шумно и весело.

Насколько я помню, никаких звуков снаружи слышно не было, поэтому дальнейшее произошло неожиданно. Сначала погас свет, потом секунда тишины – и оглушительный взрыв, от которого пол под ногами закачался и с потолка что-то посыпалось. Кто-то громко закричал. Заплакали маленькие дети. Я услышал тревожный голос бабушки:

– Вова, Вова, где ты?

Наконец она нашарила меня в темноте, прижала к себе, стала успокаивать:

– Не бойся, нас не убьют.

А я вовсе и не боялся. Я даже и не думал, что меня можно убить. Побить – да. Но убить? Меня? Да разве это возможно?

Как ни странно, тревога кончилась скоро, и нас стали по очереди выводить из бомбоубежища. Кто-то освещал синим фонариком выщербленные ступени и сверкающий свой сапог.

На улице было достаточно светло, потому что стояла полная луна и на Запорожстали опять выливали шлак.

Дома нас ждал сюрприз. Все окна в нашей квартире были выбиты, стекла разлетелись по всему полу, и багровое зарево отражалось кусками.

– Ну вот, я же говорила, что эти бумажки ни от чего не спасут, – сказала тетя Аня, хотя раньше она, кажется, говорила что-то другое.

Вернулся откуда-то дядя Костя и сказал, что света во всем поселке нет и сегодня не будет, потому что бомба перебила высоковольтную линию. А кроме того, она попала в детский сад и там убила сторожа и собаку. Детей там, слава богу, не было.

Кое-как сгребли стекло в угол, легли спать.

Утром я проснулся оттого, что меня кто-то тряс за плечо. Я открыл глаза и увидел военного, который говорил мне:

– Вова, вставай!

Я решил, что он мне приснился, и попытался от него отвернуться, чтобы сменить этот сон на другой. Но военный был настойчив, я в конце концов пришел в себя и увидел, что это мой папа.

– Вова, – сказал он. – Мы с тобой опять расстаемся. И, может быть, надолго. Я уйду на войну.

И тут я понял, что война не такая уж веселая штука, как казалось недавно. Я прижался к отцу и сказал:

– Папа, не уходи. Не надо. Я не хочу больше жить без тебя.

Я уткнулся лбом в пряжку его ремня и заплакал.

Собаки, вредители и шпионы

В Запорожье, как я узнал, было много вредителей и шпионов. Их было немало и там, где я жил раньше. Но здесь еще больше.

Соседи на лавочке во дворе постоянно рассказывали друг другу истории о том, что директор какого-то торгового предприятия прежде, чем отправить молоко в магазины, купал в нем свою жену. Чтоб у нее кожа была хорошая. Директор средней школы создал из учеников подпольную националистическую организацию под названием СКМ, что означает Смерть Красным Москалям. Япон-

ский шпион был застукан на том, что пытался взорвать железнодорожный переезд. Шпион румынский ехал на поезде и считал провозимые мимо танки и цистерны с горючим.

Но Днепровская имени Ленина, ордена Трудового Красного Знамени гидроэлектростанция была самой лакомой приманкой для всех в мире шпионов, и особенно польских, включая нашего дядю Костю Шкляревского, который в свое время признался, что фотографировал плотину ДнепроГЭС не только для газеты «Червоне Запоріжжя», где он работал фотокорреспондентом, но и по заданию польской дефензивы.

Его, между прочим, добиваясь признания, пытали паром. То есть из камеры делали такую парилку, что он в конце концов не выдержал. После чего его, как ни странно, выпустили.

В то время издавалось много книг о всяких вредителях и шпионах, правда, не только местных. Бабушка, с которой я, кстати, тоже подружился не меньше, чем с Витей, прочла мне однажды книжонку про отважного пограничника Карацупу и его верного пса Индуса, переименованного задним числом и много лет спустя, в пору дружбы Советского Союза с Индией, в Ингуса. Карацупа с Индусом вдвоем задержали очень много нарушителей какой-то южной границы. Причем оба описывались автором с одинаковым восхищением. Поэтому, когда я узнал, что за свои подвиги Карацупа был не только награжден орденом, но и принят в члены ВКП(б), я спросил у бабушки, была ли награждена его собака.

Бабушка сказала, что она не знает, но вообще вполне возможно, что собака тоже получила медаль.

– А в партию ее приняли? – спросил я.

– Что за чушь! – сказала бабушка. – Собак в партию не принимают.

– А почему?

От других взрослых бабушка отличалась тем, что любые мои вопросы готова была обсуждать на предложенном мною уровне и всерьез.

– Почему, почему! – рассердилась она. – Потому что в партию принимают только людей. И то не всех, а лишь тех, которые верят в коммунизм. А разве собака может во что-нибудь верить?

Почему собака не может верить в коммунизм, этого мне бабушка объяснить не могла, наверное, потому, что сама была беспартийная. И в коммунизм, как я потом догадался, тоже не верила. В отличие от своего сына, не верила без всяких сомнений.

Несмотря на бдительность людей и собак, число вредителей и шпионов в городе Запорожье никак не уменьшалось. Наоборот, они объявлялись везде, иногда даже совсем рядом. Ровно за неделю до начала войны покончил с собой наш сосед – инженер Симейко. Говорили, будто тоже оказался шпионом и диверсантом, распространял панические слухи о возможной войне с Германией, что, согласно недавнему заявлению ТАСС, было совершенно исключено.

За распространение слухов Симейко в понедельник должны были арестовать, о чем его предупредил другой враг, внедрившийся в органы НКВД.

Враг предупредил, Симейко смалодушничал (так тогда объясняли поступки самоубийц) и прыгнул с балкона четвертого этажа. То есть, вернее, не совсем прыгнул. Сначала он перелез через перила, опустился ниже (должно быть, все же инстинктивно хотел сократить расстояние до земли), уцепился руками за бетонную площадку балкона и долго висел, не решаясь отцепиться.

Потом он даже как будто передумал. Пытался подтянуться и залезть опять на балкон, но сил не хватало, и он стал кричать, звать на помощь. Соседи хотели его спасти и ломились в дверь его квартиры, колотя руками и ногами. Но Симейко, чтобы отрезать себе путь к спасению, сам предварительно запер квартиру на все замки и для надежности придвинул к двери тяжелый шкаф.

Пока соседи ломились в дверь, кто-то более расторопный появился на крыше с веревкой, но тут силы оставили Симейко, и он с криком «а-а-а!» полетел вниз.

Говорили, что хотя в последний момент Симейко вроде передумал, но уже в полете передумал опять и успел для надежности перевернуться вниз головой. Потом выяснилось, что успел не только перевернуться, но, как показало вскрытие, и умереть от разрыва сердца. Насчет разрыва сердца не знаю, но что он врезался головой в асфальт и что голова его была похожа на расколотый очень спелый арбуз, это точно, я сам это видел, и мне стало дурно. Симейко увезли в морг, оставшуюся после него красную лужу засыпали песком, песок смели, но темное пятно еще несколько дней оставалось, как ненадежная память о прошедшей жизни инженера.

Когда началась война, многие вспомнили про предсказания Симейко, а бабушка сказала, что он зря поторопился. Если бы даже в намеченный понедельник его арестовали, то уже в следующий должны были бы выпустить.

– Не говори глупости! – возмутилась тетя Аня. – Ты разве не знаешь, что эти мерзавцы никогда никого не выпускают.

– Ну как же, – сказала бабушка, – ведь теперь ясно, что он был прав.

– Тем более, – сказала тетя. – У этих мерзавцев больше всех виноват тот, кто больше всех прав. А каждого самоубийцу они ненавидят за то, что, наложив на себя руки, он от них уходит и они ничего ему уже сделать не могут.

Эти мерзавцы

Я давно заметил, что на свете существуют какие-то люди, которые моей тете чем-то очень не нравятся, и одного из них она называет «калмык проклятый», другого – «этот рябой», а все остальные из той же компании – «эти мерзавцы» и «эти негодяи», которые не дают людям жить. Эти мерзавцы хвастались, что войны никогда не будет, а если будет, то только на вражеской территории и исключительно малой кровью, да и то не своей. Когда тетя Аня говорила об этих мерзавцах, дядя Костя делал страшные глаза и прижимал палец к губам, из чего можно было заключить, что эти мерзавцы где-то совсем рядом и могут подслушать. Но тетя не унималась. Она сердилась на этих мерзавцев, что они прошляпили начало войны, дают возможность вражеским самолетам прилетать к нам, а тут еще новая беда: эти мерзавцы приказали всем, имеющим радиоприемники, сдать их на временное хранение до конца войны. Тетя Аня свой приемник очень любила.

– На время, говорят, на время. Мерзавцы! Они если отнимают что-то на время, то этого не получишь уже никогда.

Прибежала соседка:

– Наши тикают!

Мы с Витей побежали на улицу. Люди на тротуарах мрачно, но без укора провожали глазами длинную колонну военных грузовиков. Все машины без номеров, фары закрыты жестяными щитками, для света оставлены только узкие щелочки.

Красноармейцы ехали, как заключенные: сидя в несколько рядов и лицом назад. Лица тоже невеселые и смотрят в сторону. Кажется, им стыдно, что они отступают. Некоторые с забинтованными головами. Во многих ветровых стеклах пробоины от пуль.

– Видишь, – сказал мне Витя, – большинство дырок с левой стороны. Понимаешь, что это значит?

Я понимал. Дырка с левой стороны означала, что недавно этой машиной управлял другой человек.

Вернувшись, мы застали в доме переполох. Дядя Костя в углу комнаты уминал коленями и пытался стянуть веревкой узел из серого одеяла. Сева, стоя на табуретке, снимал с полки какие-то книги, бегло просматривал или совсем не просматривал и кидал на пол.

– Где вы шляетесь? – накинулась на нас тетя Аня. – Разве можно уходить надолго в такое ужасное время? Давайте собирайтесь!

– Куда? – спросил Витя.

– Ты разве не понимаешь куда? Ах, вы проклятые! – сказала она в сердцах, видимо, обращаясь все к тем же неведомым мне мерзавцам. – Вы же нам обещали: чужой земли ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Обещали бить врага только на его территории. Вот она и будет его территория. – Успокоившись, сказала Вите: – Уезжаем мы, сынок. Бежим вдогонку за несокрушимой и победоносной нашей армией. Хотя едва ли догоним.

– И напрасно бежим, – сказала бабушка. – Немцы очень культурная нация. У нас в Новозыбкове в восемнадцатом году на постое стоял немецкий офицер Герд Шиллер, он был очень тихий и воспитанный человек.

– А теперь, говорят, – сказал дядя Костя, – немцы зверствуют. В деревнях жителей загоняют в хаты и сжигают живьем. Всех евреев убивают. Всех, всех, включая детей.

– Неужели ты веришь этим глупостям? – спросила тетя Аня.

– Ну почему же глупостям, Нюся? В газетах пишут.

– О, боже! – воздела руки тетя Аня. – Святая простота! Как будто ты сам не знаешь, что пишут в газетах эти мерзавцы. Как будто ты сам не работаешь в такой же газете.

– Нюся, прошу тебя – потише, – сказал испуганно дядя Костя. – Ты же знаешь, что у наших стен есть уши.

Я подумал, что дядя Костя говорит какую-то чепуху. Я никогда еще не видел никаких стен с ушами.

– А куда мы едем? – спросил я у тети Ани.

– В эвакуацию.

Я не знал, что такое эвакуация, и решил, что это такой город Эвакуация.

Ну, что ж, мне было не привыкать путешествовать. Я уже ехал из Сталинабада в Ленинабад, из Ленинабада в Запорожье, а теперь вот из Запорожья в Эвакуацию.

Это была наша последняя ночь в Запорожье. И последняя бомбежка.

Почему-то в этот раз нас с бабушкой отправили не в бомбоубежище, а в щель, где мне понравилось гораздо больше. А еще больше не в самой щели, а вне ее. Почему-то во время налета мы с Витей оказались снаружи, и я увидел необычайно красивое зрелище. Была ясная ночь, шлак на Запорожстали еще не выливали, и звезды светили ярко и крупно.

Где-то в невидимой вышине ровно, мощно и злобно гудели самолеты, на земле хлопали зенитки, по всему небу шатались, перекрещивались, сходились в одной точке и расходились белые дымящиеся лучи прожекторов, летели разноцветным пунктиром трассирующие снаряды, и совсем недалеко часто и коротко стучал пулемет.

Мы вернулись домой при первых знаках рассвета.

Я чувствовал себя счастливым оттого, что провел эту тревогу вместе со взрослыми, и у меня было такое ощущение, будто сам побывал на войне, которая мне в этот раз понравилась. Я лег, и мне снились прожектора, трассирующие снаряды и белые стены с большими человеческими розовыми ушами. Эти уши принадлежали стенам, и в то же время это были мои уши. Я ими слышал. Слышал странный вполголоса разговор, происходивший где-то в коридоре между тетей Аней и дядей Костей.

– Нюся, – говорил дядя Костя, – в конце концов, если ты не хочешь, мы можем никуда не ехать. Может быть, ты права, немцы культурные люди, они нам ничего не сделают. Зачем мы им нужны? Мы же не коммунисты.

– А Вова? – спросила тетя Аня.

Я даже во сне удивился и затаил дыхание. Что Вова? Может быть, я коммунист, но сам об этом не знаю? Бабушка говорила, что собак в партию не принимают, а детей, может быть, принимают. Может быть, и меня приняли, а я даже не знал.

– Ну что Вова, – сказал дядя Костя, словно повторив мой вопрос. – Вова твой племянник, а ты русская.

- Я русская, а Роза еврейка, и если они это узнают...
- Но, Нюся, ты же сама говоришь, что газетам нашим верить нельзя.
- Газетам верить нельзя, а глазам и ушам можно. Я по радио слышала несколько речей Гитлера. Я почти ничего не разобрала, но поняла, что он такой же мерзавец и фанатик, как этот рябой.
- Тише, тише, тише! – зашипел дядя Костя. И тут же заговорил громко: – Ну что ж, раз решили, значит, решили. Значит, надо поторопиться со сборами.

Эвакуация

Из впечатлений от эвакуации в памяти остались товарные вагоны с железными засовами и надписями: «Восемь лошадей/сорок человек», бомбежка на станции Мокрая и те самые две женщины, спрашивавшие меня, не мой ли папа написал книгу «Овод». Поезд останавливался неожиданно и трогался без расписания, поэтому люди старались вагоны не покидать, и пассажирам мужского пола, взрослым и мальчикам, малую нужду разрешалось справлять на ходу в открытую дверь, что они и делали с ощущением своего превосходства над попутчицами, не очень удачно для такого рода удовольствий устроенными. А в большой нужде было полное равенство, во время остановок в степи женщины и мужчины, не решаясь отстать от поезда, высаживались вдоль него в ряд, не испытывая, кажется, ни малейшей стыдливости. Которая, впрочем, тут же возвращалась, как только складывалась для нее подходящая обстановка. На станциях, где меняли паровоз (а это гарантия, что поезд неожиданно не уйдет), люди бежали к уборным и выстраивали – женщины длинный хвост, а мужчины – короткий.

В Тихорецке в мужскую уборную ворвалась рыжая женщина и, торопливо взметнув юбку, села над дыркой между мужчинами. Мужчины тихо, смущенно и злобно зашипели:

– Вы что, разве не видите, куда залетели?

– Ничего, – сказала женщина, – после войны разберемся. А пока не кончилась, мне в штаны, что ли, срать?

Ставрополь тогда назывался Ворошиловском, а край Орджоникидзевским.

На пыльной привокзальной площади Ворошиловска было трехдневное сидение на узлах среди тысяч других здесь сгруженных семей, а потом трехдневный путь через степь на волах. Было жарко, и очень хотелось пить, а воды почему-то не было. Я запомнил девочку, про которую говорили, что она идиотка. Она кусала собственные толстые губы и высасывала из них свою кровь.

Степь да степь кругом

Мое поколение, вероятно, последнее в истории человечества, из которого кое-кому лично известно, что значит «степь да степь кругом, путь далек лежит».

Бескрайнее пространство: ни деревьев, ни кустов, ни выпуклостей, ни впадин, только полынь, бурьян, ковыль и волнистая линия уходящей к горизонту дороги.

Передвижение в такой степи в воловьей упряжке, я думаю, сравнимо только с пересечением на древней посудине океана.

Наш обоз состоял из трех просторных, запряженных волами арб, у которых нижняя часть имела вид сколоченного из досок и устланного соломой корыта, а верхняя – длинные жерди. В первой и второй арбе ехали эвакуированные, в третьей была бочка с водой и мешки с провиантом.

Ехали медленно, нарушая степную тишину тихими разговорами, скрипом несмазанных осей и бряканьем привязанных сзади ведер.

На нашей арбе слишком много места занимали два больших фанерных чемодана лягушачьего цвета, принадлежавшие двум женщинам – матери и дочери по фамилии Слипенькие. Имя матери осталось за пределами моей памяти, а ее беременную дочь звали Нарева, что означало Надежда Революции. Нарева с печальным и безучастным ко всему выражением полулежала в углу арбы, держа живот растопыренными пальцами, словно боялась, что он улетит. На первой арбе ехал страдавший от жары старик Франченко, абсолютно лысое темя которого было оторочено густым черным мехом на затылке и за ушами. Франченко задыхался, стонал и скреб ногтями свою раскрытую волосатую (седую, а не черную) грудь, а его жена, аккуратная худая старушка с косой вокруг головы, обвевала его веером или прикладывала к лысине мокрый платок.

Первой упряжкой и задней управляли погонщики мужского пола: пожилой с вислыми усами и в самодельном соломенном подобии шляпы Микола Гаврилович и просто Микола, подросток лет шестнадцати, босой, в коротковатых штанах, в дырявой майке и в кепке-восьмиклинке с маленьким козырьком. Наших волов погоняла Маруся, молчаливая девушка лет восемнадцати, в пестром сарафане, круглолицая, с толстыми загорелыми босыми ногами. Время от времени она постукивала по костлявым воловьим бокам длинной хворостиной, покрикивая вполголоса: «Цоб-цобэ!» Порой соскакивала на землю и шла рядом с волами.

В середине дня обоз останавливался для отдыха и кормежки, а вечером – и для ночевки. Днем ели хлеб с салом и запивали теплой водой с запахом и привкусом бочки. Во время остановок волов распрягали, поили, кормили отрубями, перемешанными с соломой, после чего они, сытые, либо стояли на одном месте, либо ложились и дремали, не обращая внимания на жару и обсевших их мух.

Обедая, мы старались расположиться так, чтобы, если прилечь, досталось хоть немного падающей от арбы скудной тени.

Все переносили жару терпеливо, кроме Франченко. Он сидел под первой арбой, еду никакую не брал, мотал головой, широко открывал рот и стонал: «Ой, я умираю!» Жена его стояла рядом с ним на коленях, макала свой платок в миску с водой, прикладывала к его лысине и обтирала грудь.

Микола-младший, заигрывая с Марусей, передразнивал Франченко, закатывал глаза и как бы шепотом, но надеясь, что другие услышат, стонал: «Ой, я умираю!» Маруся делано сердилась: «Ото ж, дурень який!» Но, не сдержавшись, прыскала в кулачок.

К вечеру мы достигали какой-нибудь прошлогодней скирды соломы, это было что-то вроде степного оазиса. Тут наступала передышка от дороги и зноя. Волы распрягались. Оба Миколы, старший и младший, расположившись в стороне от скирды, посылали пассажиров таскать солому, а сами тут же выкапывали небольшую ямку, перекрывали ее двумя закопченными железными прутьями, на них ставили большой казан и в нем варили фасолевый суп, постоянно подкармливая огонь пучками соломы. Суп был с салом, и большие куски я отдавал дяде Косте, а маленькие с отвращением выплевывал. От вареного сала меня тошнило, фасоль я терпел, а вот разламываемые на куски круглые пышные паляницы мне очень понравились.

Мне всегда было неприятно, но любопытно смотреть, как люди едят, следил я и за тем, как это делал Микола Гаврилович. Он доставал из-за сапога оловянную ложку, несколько раз плевал в нее, потом вытирал о край своей выпущенной наружу серой рубахи. Ел медленно, часто вытирая усы и о чем-то задумываясь. Если попадался ему большой кусок сала, он его вынимал из ложки двумя кривыми грязными пальцами и, запрокинув назад голову, ронял себе в рот и заглатывал, не жуя. На вопросы отвечал не сразу и немногословно. Наши взрослые его спрашивали, долго ли еще осталось ехать и что есть там, куда мы едем, – колхоз или просто крестьяне.

– Яки ж у нас просто хрестьяне, – отвечал Микола Гаврилович, подумав. – У нас така ж радяньска влада, як и у вас, и колгоспы таки ж сами.

– А вы, значит, украинцы? – спросила его моя бабушка.

Он подумал и покачал головой:

– Ни. Мы хохлы.

– Ну как это можно, – сказала бабушка. – Хохлы – это оскорбительная кличка. А вообще, такой национальности нет. Вы не хохлы, а украинцы.

Микола Гаврилович посмотрел на бабушку удивленно, переглянулся с молодым Миколой, подумал как следует и повторил:

– Ни, мы хохлы.

Бабушка интересовалась, хорошо ли здесь живут люди. Микола Гаврилович отвечал рассудительно:

– А шо ж нам не житы? Мы ж хлеборобы, люды не лядащи, у кожного, несмотря шо колгосп, и кура, и гусь, и индюк, и порося, и корова. Деяки хозяи доси по чотыре коровы мають.

На вопрос дяди Кости, едят ли они черный хлеб, Микола Гаврилович почти обиделся:

– Та вы шо? Та хибя ж мы свини?

После ужина Микола-младший уходил в степь и с ловкостью кота ловил там полевых мышей, которыми, держа их за хвост, пугал Марусю.

Скирды были для волов дополнительной пищей, а для нас роскошной постелью. В них мы располагались на ночь, зарывшись по горло в солому. Красное солнце быстро опускалось за горизонт, степь серела, чернела, становилась загадочной, суровой и величественной. На фоне этого величия как-то несерьезно вели себя мыши, которые шуршали соломой и попискивали где-то внизу. Я лежал в скирде рядом с Витей, мы смотрели на звезды, такие крупные, каких в Запорожье видеть не доводилось. Витя был большой знаток астрономии. Он мне показывал, где Марс, где Венера, где какая Медведица и где Полярная звезда.

В первое утро я проснулся от крика. Где-то на другом краю скирды кричала женщина, потом раздался детский писк, потом появилась моя бабушка и сказала, что Нарева родила мальчика. Потом Нарева ехала в том же углу арбы и кормила ребенка большой бледной грудью.

На другое утро опять раздались крики. Оказалось, ночью во сне спокойно, без всяких стонов умер старик Франченко.

Покричав и поохав, взрослые уложили покойника на арбу и накрыли его простыней. По дороге я поглядывал то в угол нашей арбы, где Нарева непрестанно совала ребенку свою полную грудь, то на арбу перед нами. Там старуха Франченко, сидя рядом с трупом, время от времени приоткрывала простыню, словно проверяя, не воскрес ли ее муж, и, убедившись, что этого не случилось, опускала простыню, отворачивалась и смотрела вдаль сухими глазами.

К вечеру третьего дня наш обоз медленно втянулся в небольшое селение, которое по-русски называлось бы деревней, а по-здешнему – хутором.

Жизнь сразу же обросла многими новыми признаками устроенного быта: пахло лошадьми, навозом, свежим молоком, приторным кизячным дымом, лаяли собаки, мычали коровы, гоготали гуси, и местные жители вылезали из своих мазанок, чтобы посмотреть на завезенных к ним чужаков.

Остановившись посреди хутора, мы были тут же обступлены местными жителями, которым Микола Гаврилович с досадой сказал:

– Ну шо вы збижались? Чи вы жидив не бачили, чи шо?

Жидами, как я впоследствии понял, назывались здесь все городские люди в отличие от местных хохлов.

Цоб-цобэ

Живя на хуторе Северо-Восточный, я ходил в школу во второй класс на хутор Юго-Западный – в семи километрах от нашего хутора, он был для нас вроде столицей: там и школа,

и почта, и правление колхоза, а у нас – ничего. Вернее, я туда не ходил, а ездил вместе с другими на волах, которых нам, школьникам, выделил колхоз. Волон запрягали в просторную квадратную двуколку, и занимались этим старшие школьники, то есть четвероклассники. Двое из них, Тарас и Дмитро, просидев в разных классах не по одному году, были уже люди вполне солидного возраста. Утром мы собирались возле воловни, Тарас, или Дмитро, или оба вместе запрягали животных, мы забирались в повозку и – цоб-цобэ – отправлялись в долгий и скучный путь. Утром туда, а после обеда обратно. И все было бы хорошо, если бы не... Начну, впрочем, издалека.

Не знаю, как в других местах, а вот на Украине и на юге России вола издавна были одним из самых распространенных и надежных видов транспорта. В тех краях, куда занесла нас эвакуация, вола были незаменимой тягловой силой. Конечно, колхозное и иное начальство, начиная от бригадира Пупика, ездило на лошадях. Но если надо было пахать или возить что-то очень тяжелое, если куда-то снаряжался обоз, санный или колесный, то обычно запрягали волов.

Вот типичная картина для тех мест. Два вола, вытягивая шею, тянут арбу со стогом сена или соломы высотой с двухэтажный дом. Рядом идет погонщик, беззлобно постукивая по спинам и повторяя одно и то же: «Цоб-цобэ!»

Есть такое выражение – бессловесная скотина. Это, если в прямом смысле, именно про вола. Вол – самое работающее, неприхотливое и безропотное животное. Он ничего от своих хозяев не требует, кроме еды и воды. Больше ему ничего не нужно. Причем кормить вола можно чем попало. Есть сено – хорошо. Нет – сойдет и солома. Лошадь по сравнению с волом аристократка. На нее надевают сбрую, часто нарядную, со всякими украшениями, побрякушками, колокольчиками. Ее покрывают расписной попоной. Ей дают пахучее сено, клевер, а по возможности и овес. А хороший хозяин и куском рафинада угостит. Да при этом погладит ей морду, потреплет холку, шею снизу потрет и посмотрит, как она улыбается. А еще ведь лошадь и купают, и чистят, и хвост расчесут, и гриву косичками заплетут, и челку подправят. Как-нибудь похоже обращаться с волом никому и в голову не приходит. Ну, бывает, иногда между рог почешут слегка, ему и это приятно, но смотрит он удивленно: с чего бы такая милость?

Вола ничем не балуют и ничем не украшают. Для него есть ярмо – две деревянные колоды, скрепленные железными штырями – занозами. Его к этому ярму надо только подвести, а уж голову он сам подставит. Даже люди, управляющие лошадьми и волами, по-разному выглядят и называются. Лошадьми в давние времена правили кучера, ямщики в каких-нибудь тоже расшитых камзолах, в расписных рукавицах, в шапках нарядных. Про них слались песни заунывные («Степь да степь кругом»), романсы лирические («Ямщик, не гони лошадей»). У волов же никаких кучеров-ямщиков нет. У них – погонщик. В длинном зипуне, стоптанных чоботах, в драном каком-нибудь малахае и с хворостиной в руке, сам по себе личность зачуханная и романсами не прославленная.

Преимущество у вола перед лошадью только одно – его никогда не бьют сильно. Не потому, что жалеют, а потому, что не нужно и бесполезно. Быстро он не побежит, хоть убей. А медленно идет без битья. Поэтому его лишь слегка постукивают палкой по костлявому хребту, давая понять, прямо идти или куда заворачивать.

Наблюдая этой скотины повседневную жизнь, видя ее бесконечную рабскую покорность судьбе и погонщику, трудно и даже невозможно себе представить, что это существо не всегда было таким, что оно было готово к сопротивлению и даже бунту.

Ведь вола – это и есть те самые непокорные, гордые, самолюбивые до спеси быки, которые на испанских и прочих корридах сражаются до конца, не имея ни малейшего шанса на победу. Превращаясь в волов, быки не только утрачивают какие-то детали своего организма, но и лишаются некоторых свойств характера. И все же, даже оскотиненные, они не сразу поко-

ряются своим угнетателям. Они сопротивляются, они бунтуют, может быть, как никакое другое животное.

Бывает это обычно только раз в жизни, именно тогда, когда на вола впервые надевают ярмо. Не на одного вола, конечно, а сразу на двух. Их запрягают летом в сани потяжелее, на сани накладывают груз или садятся для потехи несколько отчаянных мужиков (перед тем для храбрости изрядно принявших). Садятся для того, чтобы увеличить нагрузку. И вот тут-то как раз применяется не хилая хворостина, а кнут или, точнее, бато́г, длинный, туго сплетенный, тяжелый и смоченный водою, чтобы был еще тяжелее. Действуют воспитатели быстро, решительно и жестоко. Подвели волов к саням, надели обманом ярмо, во́лы сначала теряются, косят друг на друга недоверчивым глазом, топчутся на месте, а потом как задрожат да ка-ак рванут! И вот тут самое время для их учебы, для обламывания рогов.

Во́лы, еще полные силы и ярости, несут эти сани, как легкую таратайку, кидаются из стороны в сторону, считая, что под ноги попадется или под полоз. Тут-то их и надо бато́гом, да покрепче, но без мата, а лишь со словами (чтоб только их и запомнили): «цоб» и «цобэ». Эти два слова, и никакие другие. Одного из всей силы вдоль хребта бато́гом: «Цоб!» А другого тем же макаром: «Цобэ!» Звереют во́лы, не хотят терпеть ярма, пытаются его скинуть, мотают головами, шеи выворачивают, швыряют из стороны в сторону сани, несутся во весь опор, готовы растоптать, пропороть рогами все живое и неживое (кто навстречу попался, тот либо в сторону шарахается, либо на дерево влетает, как кошка), и кажется, сил у них столько, что никогда не успокоятся и никогда не остановятся. Но все-таки и воловья сила знает предел, уже вот бег замедлился, и дыхание шумное, и пена из рта, а рука бьющего еще не устала. Шарах одного с захлестом промеж рог – «Цоб!», шарах другого с потягом по хребтине – «Цобэ!», и вдруг во́лы остановились, задергались, задрожали и оба разом рухнули на колени. А пар из ноздрей валит, а пена у губ пузырится, а глаза еще красные, но в них уже не гнев, а покорность.

И это все. Учеба закончена. Теперь только дайте во́лам отдохнуть, а потом подносите ярмо, а уж головы они сами подставят. Бить их больше не надо. Не стоят они того. Да и бесполезно. Бежать все равно не будут, а шагом потащат столько, сколько осият. Идут себе тихомирно, только покрикивай «цоб» или «цобэ», или «цоб-цобэ», это смотря чего вы от них хотите.

А между прочим, самого главного я еще не сказал. Я не сказал того, что «цоб» и «цобэ» – это, во-первых, команды. Причем довольно простые. Если говоришь «цоб», во́лы поворачивают налево, «цобэ» – направо, «цоб-цобэ» – идут прямо. Во-вторых, Цоб и Цобэ – это не только команды, а еще имена. У всех волов есть только два имени: Цоб и Цобэ. Если опять же сравнить с лошадьми, то тех называют обычно как-нибудь ласково и по-разному. Буран, Тюльпан, Русалка, Сагайдак, Пулька, Крылатка, Весенняя – вот имена из нашей колхозной конюшни. И еще мерин по имени Ворошилов.

Так вот у волов никаких таких Буранов, Русалок и Ворошиловых не бывает. У них только или Цоб, или Цобэ, третьего не дано. И к этому пора добавить, что Цоб и Цобэ – не только имена, а и как бы исполняемые ими функции. И положение, которое они всегда занимают. А именно: Цоб в упряжке всегда стоит справа, а Цобэ, наоборот, слева. В таком порядке все свое дело всегда понимают. Погонщик знает, что если надо повернуть налево, то следует стукнуть (несильно) стоящего справа Цоба и сказать ему: «Цоб!» Тогда Цоб напряжется и толкнет плечом стоящего от него слева Цобэ, тот подчинится, и во́лы повернут налево. А если направо, то Цобэ толкнет Цоба – и все получится наоборот. Точный, ясный, раз и навсегда заведенный порядок. Если его соблюдать, во́лы ведут себя безропотно и безупречно. А вот если нарушить порядок, то этого могут не потерпеть.

Именно такого нарушения я и оказался свидетелем и жертвой, когда однажды мы, ученики, собрались после школы домой. Кому-то из наших умных возниц пришло в голову ради шутки поменять перед дорогой Цобэ и Цоба местами. Сказано – сделано. Запрягли, поехали.

Уже когда мы садились в двуколку, было видно, что волы проявляют какое-то недовольство, нервозность. Смотрят друг на друга, перебирают ногами, мотают рогами, дрожат. Ну, сначала как-то двинулись и вроде бы ничего. Доехали до угла школы, а там как раз поворот направо. Тарас стукнул хворостиной левого быка и говорит ему: «Цобэ!» А тот не понимает, потому что он не Цобэ, а Цоб. Но его стукнули, и он пытается толкнуть того, кто стоит от него слева, а слева от него как раз никого нет. А Цобэ, слыша свое имя, пытается толкнуть того, кто стоит справа, но справа опять-таки никого. Потянули они друг друга туда-сюда, никакого поворота не получилось. Дмитро у Тараса хворостину выхватил, неправильно, говорит, управляешь, раз уж запрягли наоборот, значит, наоборот надо и говорить. Хочешь повернуть направо, говори «цоб!», хочешь – налево, кричи «цобэ!». Стукнул он опять Цоба по спине и говорит ему «цоб!», считая, что тот теперь вправо будет толкаться. Цоб направо не идет и опять толкает влево того, кого слева нет. А Цобэ хотя и упирается, но настоящего сопротивления оказать не может, он привык, чтобы его толкали, а не тянули. В результате двуколка наша поворачивает не направо, а как раз налево, как и полагается при команде «цоб», но при этом делает оборот градусов на триста шестьдесят с лишним. «Вот дурень! – рассердился Тарас. – Совсем скотину запутал. Дывись, як треба». Стукнул он палкой Цобэ и сказал «цобэ»! Цобэ сначала подчинился, пошел вправо, а там никого нет, тогда нажал на Цоба, опять стали крутить налево. А направо – хоть так, хоть так – не идут. Дмитро соскочил на землю, уперся в шею Цоба двумя руками. «Цобэ! – говорит ему. – Твою мать, Цобэ!» А Цоб свое дело знает и имя. И знает, что не для того он поставлен, чтобы толкаться вправо, а для того, чтобы толкаться влево. А Дмитро все в шею его упирается. И тут Цоб не выдержал, мотнул башкой и зацепил рогом на Дмитро телогрейку. Дмитро хотел его кулаком по морде, а Цоб развернулся и, чуть Цобэ с ног не свалив, пошел на Дмитро на таран. Дмитро прыгнул в сторону, как кенгуру. Цоб хотел и дальше за ним гнаться, но тут его осилил Цобэ, и вся упряжка пошла направо. Волы двуколкой нашей чей-то плетень зацепили и частично его свалили, причем свалили с треском, и треска этого сами же испугались. А потом от всего происшедшего не порядка вовсе озверели и понеслись. Мне повезло, я был среди тех, кто за борт вылетел сразу. Но другие еще держались. А волы бежали по хутору не хуже самых резвых лошадей. Бежали, шарахаясь то вправо, то влево. При этом снесли угол школьной завалянки, растоптали попавшего под ноги индюка, потом повернули и устремились прямо к колхозной конторе. Бухгалтер по фамилии Рыба, как раз вышедший на крыльцо, кинулся обратно и захлопнул за собой дверь. Но испугался он зря – у самого крыльца волы крутанули вправо, перевернули брошенную посреди дороги сенокосилку, даже протащили ее немного с собой (потом она оторвалась), выскочили в степь и понеслись по ней зигзагами, разбрасывая в разные стороны своих пассажиров. Когда двуколка перевернулась, в ней уже никого, к счастью, не было. Волы в таком перевернутом виде, подняв тучу пыли, дотащили двуколку до соломенной скирды, в которую с ходу уперлись, и, не понимая, как развернуться, стали бодать солому рогами. Тарас и Дмитро, до смерти перепуганные, с трудом собрали раненых и ушибленных детей, а потом осторожно приблизились к волам. Те все еще проявляли признаки агрессивности, но наши переростки были переростки деревенские. Они в арифметике и грамматике разбирались не очень, но с животными управляться умели. Они волов кое-как перепрягли, и, удивительное дело, те опять стали тем, кем и были до этого: безропотной и покорной скотиной, которая, если не нарушать порядок, ведет себя тихо, мирно и смирно. Не без опаски мы заняли свои места в двуколке, Тарас стукнул палкой Цоба и сказал ему «цоб», а затем стукнул палкой Цобэ и сказал «цобэ». Волы поняли, что теперь все правильно, порядок восстановлен, каждый на своем месте, каждый при своем имени и – пошли вперед, напрягая свои натертые шеи, мерно перебирая ногами, передними, просто грязными, и задними, обляпанными во много слоев навозом.

Я умру

О том, что я умру, я узнал там же, на хуторе.

Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.

Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил две красивые зеленые перчатки. Увидев это, бабушка сказала, что масляная краска вообще не отмывается и мои руки придется отрезать. Я ужасно перепугался и даже заплакал, но потом подумал и сказал, что если руки нельзя отмыть, то зачем же их все-таки отрезать? Лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками. Бабушка возразила, что это никак невозможно. Масляная краска перекрывает все поры, руки без доступа воздуха загниют, и без ампутации не обойтись. Когда я застудил уши, бабушка пророчила мне полную глухоту, и она же одну из своих сентенций начала словами: «Когда ты умрешь...»

Я ее перебил и спросил: а почему это я умру?

Она сказала: потому что все умирают, и ты тоже умрешь. Я сказал: нет, я не умру никогда. Она сказала: что за глупости? Почему это все умирают, а ты один не умрешь? Я сказал: потому что я не хочу. Но никто не хочет, сказала бабушка. Никто не хочет, а все умирают.

Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю, такое случилось, например, с моим дедушкой, но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной.

Теперь бабушка сказала, что может, и даже непременно случится.

Конечно, моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.

Я в девочку не верил и в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа.

Но я?

Было лето, был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи, от края до края, серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое: ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было, даже коршун не сдвинулся с места.

Я попытался представить, как это все может существовать без меня, но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак.

Змея с кружочками

После эксперимента с перепряжкой волов колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы не большие баре, можем в школу ходить и пешком. Семь километров туда, семь обратно – для городского мальчика расстояние серьезное.

Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий. Но зато по дороге колхозный баштан, или по-русски бахча. А там арбузы, или, по-тамошнему, кавуны. Не очень большие, величиной с человеческую голову. Некоторые уже созрели, а иные еще

нет. А как отличить спелые от неспелых, не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают. Прикладывают к арбузу ухо, постучат пальцем и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал поступить так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем, вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана и о дорогу – она твердая – расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше: «Эй, малой! Ты шо тут робишь?»

Я поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь, названная за резвость Пулькой, косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая: «Ну что мы с ним будем делать?»

Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фаэтон цеплялся, протянул кнутом, и я запомнил, что это больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать, как оправдаться. Если бы я один арбуз разбил или два, а то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй: «Дэ идешь?» Не зная местного языка, я догадался, что «дэ» это значит «где», и сказал, что здесь иду, по дороге. Он подумал и спросил: «А ты чей?» Я понял вопрос буквально и буквально ответил: «Мамин и папин». Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись, закричал лошади: «Но-о!» – и свистнул, не касаясь ее, кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бидарку вдаль, подняв за собой тучу пыли.

Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение баштанного урожая, но не решился и место преступления торопливо покинул.

Дорога была скучная, длинная и вилась, как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль баштана, а потом втекла в поле, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет, это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. Но поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах (это я видел потом) жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали стоймя в суслоны, а здесь проташенная через молотилку комбайна мягкая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами по полю, словно большие, круглые, лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая.

Раз! Махнул ногой, и копна разлетелась. Раз! – разлетелась вторая. Ра-аз! Я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде, из нее вывернулась черная змея, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее.

Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знал никогда.

Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь «мама!» и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, мне казалось, что все змеи собрались, шипят, гонятся за мной и вот-вот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и все будут меня, маленького, несчастного, жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят, только скорее.

Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее, по бабушкиным приметам, ветреную погоду. Я понял, что, раз я не умер, надо вставать и идти. Но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом, дороги не видно и ничего, кроме бесконеч-

ного ряда копен, такого, чтоб выделялось: ни дерева, ни дома, ни дыма. Я пошел за солнцем, а оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт, и степь потемнела, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно.

Я шел и ревел монотонно, как дождь.

И было отчего. Городскому мальчику остаться одному ночью в степи, разве может быть что страшнее?

Я шел, ревел и вдруг заметил, что там, где-то впереди, очень далеко, что-то как будто светится. Я прибавил шаг, потом побежал и в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почему-то на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бидарку и самого бригадира Пурика.

– Эй, малой! – закричал он, потрясенный моим появлением. – Звидкиля ж ты узявся?

Теперь я его понимал. И догадался, что «звидкиля» – это значит «откуда». Я ему сказал, что на меня напала змея. Он слушал меня с удивлением. А потом посадил рядом с собой в бидарку, и Пулька резво понесла нас в сторону хутора.

Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир уехал на ток.

Дома я рассказал, как шел, как змея выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие вот такие страшные оранжевые кружочки.

– Кружочки? – переспросил Сева. – Оранжевые?

И они с Витей оба покатались со смеху. И долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что таким страшным показался мне обыкновенный и безобидный уж.

Что меня очень смутило и разочаровало. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая б она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать, и на этом образование мое прервалось.

Суровая зима

Не знаю, как прошла в Ставрополье коллективизация. Я слышал, что как везде. Что в тридцать третьем году люди и здесь вымирали целыми селами. Но в сорок первом году, когда мы здесь оказались, колхозники жили хорошо, и казалось, даже не представляли, что можно жить хуже. Такого изобилия у крестьян я потом, побывав во многих деревнях, не видел нигде. У всех были свиньи, куры, гуси, утки. Некоторые держали – что для колхозников было вообще необычно – до четырех коров. Обезжиренное после снятия сливок молоко, «обрат», давали нам, а до нас выливали на землю. Когда тетя Аня пыталась местным людям за обрат заплатить, они обижались: за такую дрянь деньги брать, все равно что за воду, стыдно. Хлеб ели только белый.

И мы поначалу жили неплохо. Нам сразу выдали аванс – несколько чучалов (мешков) пшеницы. Дядя Костя с Севой съездили за двадцать километров в районное село Тахта. Оттуда привезли муку, из которой бабушка (она оказалась большой умелицей) пекла вкуснейшие круглые паляницы (буханки) с пенистой корочкой по окружности и еще всякие коржи, булочки, иногда слепленные в виде разных животных и птиц.

Но осенью в районном селе Тахта сломалась мельница, и те, у кого не было больших запасов, скоро остались без муки. Кончилась мука и у нас. Не было больше хлеба и всего того, что умела выпекать и варить бабушка. Но была пшеница, из которой мы готовили некое варево. Бабушка называла его кутьей. Зерно, освобождая его от шелухи, толкли пестиком в

ступе, потом варили. Местные жители, может быть, тоже ели кутью. Но у них было еще мясо, сало, молоко, сметана, масло и яйца. А у нас только кутья и банка топленого сливочного масла, которое от долгого хранения испортилось и стало «ёлким», то есть сильно горчило. Впрочем, скоро кончилось и оно. Мы ели кутью всухомятку, и она уже не лезла в горло, когда я (о чем с гордостью потом вспоминал) догадался сыпать в ступу зерно мелкими горстями и толочь его до тех пор, пока оно не превращалось в очень грубую, но все же муку, из которой можно было выпекать что-то хлебоподобное. Конечно, такой способ производства был сродни добыванию огня путем трения, но делать было нечего, и мы все по очереди толкли зерно.

Зима оказалась на редкость для тех южных мест суровой и снежной. Пурга, длившаяся несколько дней, намела сугробы выше крыш. Но природа была к людям милостива, сугробы прилегали к хатам не вплотную, а оставляли некоторое пространство, которое позволяло открыть дверь. Впрочем, иногда соседям приходилось друг друга откапывать.

Дядю Костю угнали на оборонные работы в самом начале зимы. Сколько он там пробыл, не помню, и что делал, не знаю, – кажется, копал противотанковые рвы. Вернулся с обмороженными ушами и руками. А наша соседка Маруся, девушка лет семнадцати, обморозила ноги, да так, что целыми днями рыдала и причитала:

– Ой-ё-ёй! Ой, ноженьки мои, ноженьки!

Говорили, что ей надо отрезать ноги, иначе умрет. Но кто мог провести ампутацию, если на хуторе не было даже фельдшера? Маруся выла, ее мать натирала ей ноги топленым гусиным салом и тем, кажется, в конце концов дочь спасла. Маруся осталась жить и с ногами.

Ворошилов и Пулька

Первой лошастью, на которой я учился ездить верхом, был пожилой мерин по имени Ворошилов. Колхозный конюх разрешил мне на нем прокатиться, потому что мерин был самый смирный из всего табуна. Рыжий, со звездочкой во лбу, был он очень похож на своего однофамильца, прославленного красного маршала. Будучи существом солидным, ходил только шагом, на мои понукания никак не отзывался. Сказать, что я на нем чему-то научился, было бы неверно. Он так аккуратно меня носил, что ездить на нем было не сложнее, чем на картонной лошадке, которая была у меня в раннем детстве. Поэтому я спросил конюха, не даст ли он мне лошадку побыстрее, например Сагайдака.

– Да ты шо! Ты шо! – замахал на меня конюх. – Ты знаешь, хто такой Сагайдак?

И объяснил, что Сагайдака, красавца и чемпиона Европы, держат специально для скачек. На нем разрешается ездить только специальному наезднику. А больше никому, включая даже его, конюха, и председателя колхоза. Я огорчился и продолжал ездить на Ворошилове, хотя занятие это мне казалось чем дальше, тем скучнее.

Но однажды мне повезло. Я только слез с Ворошилова, когда на бидарке-двуколке подъехал бригадир Пупик и стал выпрягать кобылу Пульку.

– Эй, малой! – закричал он мне. – Шо твоя бабка гири узяла и нэ нэсэ?

– Какие гири? – не понял я.

– Ну таки, шо на весы кладуть, шоб важиты.

Я вспомнил, что в самом деле, когда нам выдавали в чувалах зерно на заработанные взрослыми трудодни, для этого дела привозили весы и гири. В тот раз весы увезли, а гири забыли.

– Дадите мне Пульку, – сказал я, – съезжу за гирями.

– А ты верхом издыть умиешь? – спросил он.

– Умею, – заявил я самонадеянно. – Вот только что на Ворошилове ездил.

– Ха, на Ворошилове! – сказал Пупик. – На Ворошилове и мертвяк поедет!.. Ну, ладно. Погоняй, тильки шагом.

Пупик надел на Пульку уздечку, сделанную из цепи, и посадил меня. Я тронул повод, лошадь пошла шагом. Но как только мы свернули за ближайшую хату, я показал Пульке конец уздечки, и она сразу рванула галопом. Было страшно, но я держался. Тут выскочила из чьего-то двора черная собачонка и с лаем кинулась в ноги лошади. Лошадь от собаки шарахнулась и стала на дыбы. Я со страху совершил почти цирковой кульбит. Как-то ухитрился стать лошади на спину, прыгнул вниз и упал в пыль, на ногах не удержался. Кажется, я ушибся. Ушибся не очень сильно, но на всякий случай заплакал. Пулька подошла ко мне и, уже не обращая внимания на бесновавшуюся собачонку, склонилась надо мной и дышала мне в лицо, очевидно пытаясь понять, не слишком ли мне больно.

Я поднялся, вытер слезы, подвел Пульку к какому-то сарайчику и в два приема взобрался сначала на крышу сарая, а потом на лошадь. И поехал дальше, теперь уже только шагом. Гири я бригадиру привез, все кончилось благополучно. После этого я ездил на многих лошадях и всегда без седла.

Гала

Осенью тетя Аня, дядя Костя, Сева и Витя работали на уборке клещевины (растения, из плодов которого добывают касторовое масло), бабушка возилась по хозяйству, а я слонялся по дому и вокруг, не зная, чем заняться.

Иногда в гости к нам приходила соседская девочка лет десяти по имени Гала. Пока было тепло, Гала являлась совершенно голая, оставалась у двери, смотрела на меня исподлобья и бессмысленно улыбалась, ковыряя себя пальцем в районе пупа и ниже. Мне она ничего не говорила, я ей тоже.

Бабушка спрашивала:

– Ты зачем пришла? Хочешь поиграть с Вовой?

Гала молча кивала, но как и во что играть, не знала, и я не знал.

Бабушка спрашивала:

– А тебе не стыдно ходить голой?

Гала отрицательно трясла головой.

Борьба с природой

Мы все были люди городские. Все, кроме бабушки, к борьбе с природой не привыкшие. Поэтому зима нас застала врасплох. Мало того, что не оказалось никаких припасов, кроме пшеницы. Вода в колодцах замерзла, да и с топливом получилось неладно. Местные жители топили печи кизяком – лепешками из коровьего навоза с соломой. А у нас не было ни коровы, ни навоза. Поэтому топили соломой. А это – дело нелегкое. Солома горит быстро, огня дает много, а жару мало. Сева и Витя иногда со мной, а чаще без, отправлялись куда-то подальше в поле к одиноко стоявшей скирде. Солома там была уложена очень плотно. Ее приходилось с большим трудом выщипывать, или, как говорили, высмыкивать из середины. Братья со временем наловчились накручивать довольно большие вязанки, тащили их домой и тут же отправлялись обратно. Кизяк или уголь утром заложил, вечером добавил. А солому только успевай подкладывать. Воду вытапливали из снега. Пить противно, она приторно-сладковатая. Но для варки и стирки годится.

Со стиркой, впрочем, были тоже неприятности. Нормальное мыло из нашего обихода вышло, его заменила какая-то черная жижа, которая не столько мылила, сколько воняла. Скоро появились у нас на теле и в голове вши, безуспешную борьбу с которыми вся страна вела дольше, чем с немцами. Так повелось, что во время всех войн в России катастрофически не хватало мыла. В его отсутствие вши возникали немедленно, как будто из ничего. Многие

люди искренне верили, что вши рождаются просто от грязи. Вши были разносчиками сыпного тифа, который уносил жизни тысяч людей. Вершителям судеб, стоявшим во главе государств и армий, похоже, никогда не хватало ума догадаться, что, вступая в войну, о запасах мыла следует позаботиться не меньше, чем о производстве пушек. Но мыла производилось мало, зато тратились огромные средства на строительство при вокзалах, казармах, больницах, тюрьмах и лагерях специальных прожарок для белья. Простые люди вшей давили, вычесывали, мыли голову керосином, складки белья проглаживали раскаленным утюгом, отчего скопления гнид трещали, как дрова в печи. В деревнях, где жизнь разнообразием небогата, борьба со вшами превратилась даже в вид развлечения. Бабы вычесывали друг у друга жирных насекомых частым гребешком или искали в голове, перебирая волосы и тут же давя их ноготь об ноготь...

Когда я это видел, меня поначалу тошнило. Потом привык.

Петр Первый и советская власть

В декабре 1941 года моей бабушке Евгении Петровне исполнилось 58 лет, но мне она казалась глубокой старухой. Она была мала ростом, очень худа, весила вряд ли многим больше сорока килограммов, вынослива и как будто самой природой приспособлена к выживанию в крайних условиях. Все съестное она экономила до крайности, крошки со стола собирала по одной, картошку чистила так, что кожура текла с ее ножа лентой сплошной и тонкой, как папиросная бумага. Она целый день хлопотала по хозяйству и все умела: ставить опару, печь хлеб, варить щи из крапивы, суп из лебеды и заваривать чай шалфеем. А длинными вечерами при свете коптилки читала Евангелие, шила, вышивала, гадала на картах, занималась спиритизмом, играла на гитаре, которую привезла с собой в числе самых необходимых вещей. Задумчиво перебирая струны, тонким, но чистым голосом она пела песни своей молодости. Из этих песен я запомнил только первую строчку одной гимназической («Мне надоела ужасно гимназия») и «Когда я на почте служил ямщиком» на другой мотив и с другим началом. Начало было такое: «Мы все веселимся, а ты нелюдим, сидишь, как невольник в затворе. Мы чаркой и трубкой тебя наградим, а ты Расскажи свое горе...» Затем уж шли слова: «Когда я на почте служил ямщиком». А конец песни замыкал начальный посыл: «Ах, дайте, ах, дайте скорее вина, рассказывать больше нет мочи».

О жизни до революции Евгения Петровна вспоминала примерно с такой же ностальгией, с какой бабушки моего поколения вздыхали по временам брежневского застоя. По ее рассказам выходило, что жизнь была вполне сносная не только у капиталистов или помещиков. Бабушка до замужества работала народной учительницей и на жалованье в 30 рублей жила сама и держала прислугу. Все было дешево, булка ситного хлеба стоила четверть копейки, а ситец восемь копеек аршин. И когда она вышла замуж, родила троих детей и не работала, семья нужды не знала, хотя дедушка был простой железнодорожный служащий. Про царей я раньше слышал, что они все были ужасные, а по бабушкиным словам выходило, что далеко не все. Среди них были Александр Второй Освободитель и Петр Первый Великий, который побрил бояр. Видимо, бабушка бородатых людей не любила, поэтому с большим удовольствием рассказывала историю про какого-то знатного боярина, за которым Петр лично гонялся с ножницами. Из всех царей Петр, по мнению бабушки, был самый лучший.

– А если он был такой хороший, – спросил я однажды, – почему же не устроил советскую власть?

– Еще чего не хватало, – буркнула тетя Аня, но бабушка вполне по-марксистски объяснила, что Петр был хорошим, но все-таки до современных идей дорасти не успел.

– И, – неожиданно закончила она, – слава богу, что не успел.

Николай II, по ее словам, был человек неплохой, но наделал много глупостей. Зато очень любил свою жену и больного сына. Когда их расстреливали, он будто бы посадил сына на плечи и велел не закрывать глаза, сказав, что царский сын должен смотреть смерти прямо в лицо.

Питались мы однообразно, но пока не голодали. Жизнь была скудна, но именно поэтому даже самое мелкое событие в ней приносило радость и запоминалось. Не знаю, откуда они взялись, но у нас было несколько лимонов, которые тетя Аня хранила на всякий случай. Случай вскоре представился. У Севы и Вити расстроились желудки, и тетя Аня давала им чай с лимоном. Мне тоже хотелось чаю с лимоном, и я имел на него право, потому что у меня тоже был понос. Но я не решался об этом сказать, боялся, что мне не поверят, подумают, что я так говорю, потому что тоже хочу чаю с лимоном. В конце концов я все-таки сказал, что у меня тоже расстроен желудок. И мне, конечно, не поверили. Тетя Аня сказала: «Ты, конечно, выдумываешь, но ладно». И налила мне чай и положила в стакан ломтик лимона. Я сказал: «Но у меня, правда, расстроен желудок». Она сказала: «Правда, правда». Но так сказала, что я понял: она не верит, но делает вид, что поверила. Я расплакался и сказал, что раз она мне не верит, я этот чай пить не буду. Она меня обняла и сказала: «Ну что ты, дурачок, конечно, я тебе верю». Теперь я не сомневался, что она мне поверила, но от этого расплакался еще больше. А чай был вкусный и запомнился, как запоминается все труднодоступное...

Споры о Пилате

Наша библиотека на хуторе состояла из двух книг: Евангелия от Матфея и «Школы» Аркадия Гайдара. Евангелие было бабушкино, дореволюционного издания в твердом переплете с золотым тиснением, но ужасно потрепанное и замусоленное. Тиснение смялось, золото облезло, листы разбухли, растрепались по краям и распадались. В руки мне бабушка Евангелие не давала, но вслух читала охотно. Привязывала очки веревочками к ушам, садилась к окну или к коптилке и читала. Дочитывала до конца и начинала сначала. За зиму некоторые главы я выучил почти наизусть.

Я к тому времени уже прошел большой курс антирелигиозного воспитания в детском саду и в первом классе и знал точно, что Бога нет. Тем не менее Евангелие меня захватило и поразило сочетанием абсолютно реалистических описаний с такими, которые больше похожи на сказку. У меня возникали вопросы, какие возникают у всякого человека, пытающегося представить историю Иисуса въяве. Я требовал объяснений. Сева и Витя, считая бабушку сплошным пережитком прошлого, подсмеивались над ней, а тетя Аня, возвращаясь к вере, держала нейтралитет. В числе обсуждавшихся нами евангельских сюжетов была и история Понтия Пилата, которого бабушка толковала (и мы все с ней соглашались) как хорошего человека. Он предлагал синедриону и просил народ освободить Иисуса, а когда ему было отказано, умыл руки и сказал: нет на мне крови сего человека. Признаться, мне и до сих пор кажется, что Пилат сделал максимум того, что мог себе позволить римский чиновник. Отменив казнь Христа своей властью, он вызвал бы ненависть в Иерусалиме и очень большое, опасное для его карьеры недовольство в Риме. Говорят: но речь же шла о Боге. Но ведь прокуратор не знал, и откуда ему, маленькому человеку, было знать, что Иисус – сын Божий. Этого никто не знал, кроме учеников Иисуса. А те как раз, зная, кто он, повели себя гораздо хуже Пилата. Один предал его за тридцать сребреников – и проклят. Другой трижды отрекся от него – и прощен. Но и другие ученики (это мало кто прочитывает), все до единого, тоже оказались предателями. Когда в Гефсиманском саду брали Иисуса, «тогда, – сказано в Евангелии, – все ученики, оставивши Его, бежали».

Первая книга

Читать я научился лет в шесть, и первой прочитанной фразой, как, может быть, помнит читатель, была благодарность товарищу Сталину за мое счастливое детство. После этого до девяти лет я читал только вывески магазинов, рекламные плакаты, призывы ВКП(б), короткие тексты из детских книжек и в первом классе что-то несложное вроде рассказа «Филиппок» Толстого. В большие книги не заглядывал и даже не предполагал, что их, такие толстые, можно читать от начала до конца. Но однажды, уже наслушавшись в бабушкином чтении Евангелия, раскрыл «Школу» Аркадия Гайдара, прочел первую фразу: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах», – и не смог оторваться. А закончив, испытал большое огорчение, что повесть закончилась так быстро, и начал читать с начала.

Я без конца перечитывал эту книгу, она для меня стала второй действительностью, в которую я убежал из безликой жизни среди снегов. Если представить себе, что жил бы я в городской квартире теперешнего времени с телевизором, компьютером и доступом к Интернету, стал бы я читать книги, как я их читал? Сомневаюсь. А тогда я «Школу» перечитал несколько раз, и, возможно, мне ее одной хватило бы на все время пребывания нашего на хуторе. Но, зайдя однажды к соседям, тоже эвакуированным, я увидел у них на подоконнике несколько поставленных в ряд томов. Я спросил, можно ли взять что-нибудь почитать. Хозяйка спросила, что именно. Я долго не думал и ткнул пальцем в название, которое показалось мне привлекательнее других, – «Война и мир». «А не рано ли тебе такое читать?» – спросила меня дочь хозяйки, взрослая девушка. «Нет, – сказал я, – не рано».

Конечно, весь роман был мне еще не по силам. Какие-то куски казались скучными, я их пропускал. Когда попадались французские монологи, лень было читать перевод. Мне, между прочим, понравились описания не только войны, но и мира. Например, сцена приема Пьера Безухова в масоны или разговоры Наташи Ростовской и Сони. В общем, что-то пропуская, я прочел роман от начала до конца и с тех пор стал очень жадным читателем.

Вплоть до призыва в армию я читал книги запоем, обычно лежа на животе. Мы много раз переезжали с места на место, жили то в городе, то в деревне. И везде в первую очередь я бежал записываться в местную библиотеку (если она там была), хватал и читал все, что под руку попадалось. К счастью, мне часто попадалась русская классика, а из французов – Бальзак, Флобер, Стендаль. Так получилось, что книги, на которых обычно вырастали многие поколения моих сверстников, Майн Рида или Жюль Верна, мне в моем детстве прочесть не пришлось, а потом было уже скучно. Но даже прочитанные в детстве «Робинзон Крузо», «Остров сокровищ», «Граф Монте-Кристо» произвели на меня меньшее впечатление, чем, скажем, «Война и мир», «Обломов», «Вешние воды», «Господа Головлевы» или «Мадам Бовари».

В библиотеках лучшие книги были всегда затрепаны, захватаны, замусолены, именно такие и сегодня вызывают во мне вожделение, а по роскошным переплетам мой взгляд скользит равнодушно.

«Школу» я с детства и до 1980 года не перечитывал. Но, готовясь к эмиграции, перебирал свою библиотеку в размышлении, что взять с собой, что раздать, что выкинуть. Дойдя до сборника Гайдара, я нашел в нем «Школу» и заглянул в нее на всякий случай, не ожидая, что через сорок лет после первого чтения она сможет меня увлечь.

Прочел первую строку: «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах».

И опять не смог оторваться.

Раненый, но живой

Не знаю, каким путем шли в нашу глушь письма, но все-таки, сложенные треугольниками, от мамы из Ленинабада и от папы неизвестно откуда с адресом «Полевая почта №...» и штампом «Просмотрено военной цензурой», они нас достигали. Потом случился перебой: с конца ноября 1941-го от отца писем не было. Только в середине января принесли треугольник с адресом, написанным незнакомой рукой. Бабушка, еще не развернув треугольник, заплакала, а прочтя письмо, и вовсе ударилась в рев.

Отец сообщал, что лежит в госпитале, тяжело раненный. На Донбассе под городом Дебальцево во время похода он шагал в строю и курил. Шедший сзади солдат попросил документ, отец повернулся, передавая «бычок», и больше ничего не помнит. Очнулся в полевом госпитале и узнал, что пуля, войдя под левую лопатку, прошла в нескольких миллиметрах от сердца, пробила бок и левую руку насквозь. Один врач руку хотел ампутировать, другой взялся спасти, но вопрос еще окончательно не решен.

– Боже мой! Коленька! Сыночек! – рыдала с причитаньями бабушка.

Тетя Аня на нее рассердилась:

– Радоваться должна, что живой!

– Нюра, что ты говоришь! Ему же могут отрезать руку.

– Пусть руку, пусть ногу, лишь бы живой. Лишь бы живой! Лишь бы живой! – повторяла тетя Аня, как заклинание. – Почему он должен гибнуть ради этих мерзавцев?

Я догадывался, кого тетя имела в виду, и это меня немного смущало...

Богатые калмыки и бедный еврей

Летом мы немного ожили. В Тахте починили мельницу, и у нас снова появилась настоящая мука. Кроме того, меняли тряпки на еду. Сначала в пределах хутора. Потом на колхозных лошадях ездили за полтора километра в Калмыкию, на хутор Тегенур. Калмыки жили богато и за старую блузку или брюки щедро расплачивались маслом, сметаной, мясом и салом.

Однажды в каком-то калмыцком дворе мы встретили старого еврея, просившего милостыню. Было тепло, но он стоял у крыльца в зимнем пальто с каракулевым воротником. На ногах у него были галоши с портянками, которые размотались и торчали в разные стороны, а голова была ничем не покрыта, если не считать седых выющихся волос, окаймлявших обширную плешь. Воротник пальто был серый, и само пальто, как мне сперва показалось, того же цвета. Приглядевшись, я увидел, что пальто на самом деле синее, а серым кажется оттого, что сплошь покрыто жирными вшами.

Старик запомнился мне на всю жизнь, и именно его я вспоминаю, когда слышу, какие евреи все ловкие и как хорошо умеют устроиваться.

Вторая эвакуация

Не только письма, но и газеты («Правда» и какая-то местная) до нашего хутора доходили. Из них мы узнали весной 42-го, что наши войска не отступили, нет (таких слов сочинители сводок избегали), а, выполняя стратегические замыслы командования, отошли на заранее подготовленные позиции.

Вскоре заранее подготовленной позицией оказалась и наша местность.

Витя предлагал мне приложить ухо к земле и послушать.

Я прикладывал, слушал. И слышал глухие удары. Будто кто-то из-под земли пытается пробиться наружу. Теперь я думаю, это было похоже на первые толчки ребенка в животе матери.

– Немцы бомбят Сальск, – объяснил Витя. – Сальск – это город в сотне километров от нас.

– Значит, – предположил я, – скоро будут бомбить и нас.

– Нет, – сказал Витя. – Нас бомбить не будут, потому что нас бомбить слишком невыгодно.

Поскольку я опять ничего не понял, Витя преподавал мне краткий курс экономики:

– Бомбы стоят очень дорого. Поэтому немцы бросают их не куда попало, а целятся в заводы, фабрики, электростанции, вокзалы. А у нас на хуторе нет ничего, кроме молочно-товарной фермы и конюшни.

Теперь я каждый день прикинул ухом к земле, и с каждым днем толчки ощущались все явственней. А когда уже и через воздух стали доноситься звуки канонады, мы отправились во вторую эвакуацию опять в обозе из нескольких арб до станции Изобильная, где нас ожидал уже привычный товарный состав.

Местные жители, работавшие в поле, завидев обоз, останавливались и молча провожали нас недобрыми взглядами. Но в одном месте выбежали к дороге с лопатами и граблями и, размахивая ими, стали кричать:

– Шо, жиды, тикаете?

Сева открыл рот, хотел что-то сказать.

– Молчи! Молчи! – шепнула тетя Аня.

– Тикайте, тикайте! – кричал самый горластый. – Далеко не вбежите. Немец вас догонит.

Все молчали. Было ясно, что люди эти могут расправиться с нами, не дожидаясь немцев.

На Изобильной погрузились в эшелон. Где-то под Сталинградом переезжали по мосту через Волгу. Внизу плыли по течению горящие баржи, стелился над водой черный дым...

Это путешествие отличалось большей организованностью, чем первое. Пассажирам выдали так называемые рейсовые карточки, по которым в привокзальных магазинах можно было купить хлеб. На некоторых станциях нас высаживали и вели в баню. Сначала мылись женщины, потому что их было больше, потом мужчины. Однажды какая-то женщина, не успев помыться с остальными, оказалась голая среди голых мужчин. Меня удивило, что она никакого стеснения не выказывала, пыталась даже разговаривать. Мужчины же ее присутствием были весьма шокированы и отвечали ей, стыдливо отводя глаза. Когда она попросила дядю Костю потереть ей спину, тот отказать ей не посмел, но исполнял ее желание в большом смущении, усиленном присутствием сыновей и племянника...

Прибыли мы сначала в Куйбышев, потом в место с тремя названиями – Управленческий городок, станция Красная Глинка, пристань Коптев Овраг. Нас поселили на краю городка, врезавшегося в опушку леса, в длинных, наскоро сляпанных бараках, никак не разгороженных, с двухъярусными нарами во всю длину. Живя в одном из этих бараков, я едва не совершил подвиг, который мог быть воспет советской литературой.

Несостоявшийся подвиг

Сначала у меня произошло интересное в своем роде знакомство. Посланный за водой, я пошел с ведром к водоразборной колонке, что была невдалеке от барака. Поставил ведро, открыл кран, вода текла медленно. Подошли две женщины в городских платьях. Одна отдалась на шаг, расставила широко ноги и, даже не подобрав подола, стала мочиться, гораздо эффективней, чем кран, под которым стояло ведро. Другая женщина сказала:

– Галина Сергеевна, как вам не стыдно! Здесь же молодой человек!

– Это не молодой человек, а мальчик, – возразила Галина Сергеевна, не прекращая процесса. – И ему, наверное, интересно посмотреть, как писают тети. Правда, мальчик?

Я покраснел, кивнул и потупил глаза. Я и раньше видел, как тети писают, приседая и широко разводя колени, но вот чтобы так, стоя, как коровы... Эпизод, сам по себе малоинтересный, давно бы забылся, но знакомство мое с Галиной Сергеевной продолжилось. Наш барак был оборудован сплошными, во всю длину нарами, где все жильцы спали вповалку, ничем не отгороженные друг от друга. Контингент часто менялся. Какие-то люди его покидали, уступая место новоселам. На нарах шли непрерывные перемещения, в результате одного из них Галина Сергеевна стала моей соседкой.

Свету в бараке не было, поэтому люди ложились рано, как куры. Забирались на нары и пускались в долгие разговоры о войне, о прошлой жизни, о том о сем. Однажды кто-то почему-то упомянул Сталина, и тотчас раздался громкий голос Галины Сергеевны:

– Чтоб он сдох, проклятый!

Я до сих пор не забыл то растерянное молчание, которое наступило за этими словами.

Потом кто-то сдавленно произнес:

– Как вы смеее так говорить?

– А что? – лихо отозвалась Галина Сергеевна. – У нас в Ленинграде все так говорят.

Тут и подавно все замолчали, а дядя Костя сказал тихо, но директивно:

– Ладно, пора спать.

Больше в тот вечер ничего сказано не было. Люди еще поворочались и стали постепенно засыпать, каждый на свой манер: кто засопел, кто захрапел, кто застонал во сне, и только я один долго не мог заснуть, ворочался и думал: почему взрослые так спокойно отреагировали на кощунственные слова? Почему никто из них не сволок преступницу с нар и не отвел куда следует? Неужели и наутро этого не случится? Но, если никто из взрослых не знает, что надо делать, придется мне постараться за них. Хотя я и слышал странные речи моей тети об «этих мерзавцах» и «этом рябом», но имя «Сталин» при этом не произносилось. И в моем сознании, с одной стороны, существовал сам по себе мерзкий рябой, а с другой стороны – Сталин, великий вождь, которому я навеки благодарен за свое счастливое детство.

О подвиге Павлика Морозова я тогда слышал лишь краем уха, но «Судьбу барабанщика» Гайдара уже прочел и более или менее знал, как распознавать врагов и что с ними делать. Я смотрел в потолок и представлял, как утром пораньше пойду в милицию и попрошу, чтоб меня принял лично начальник, а не кто-нибудь другой. Меня, возможно, спросят, в чем дело. Я скажу, что дело очень важное, государственное и довериться я могу только самому начальнику. Я вообразил себе начальника, мудрого и усталого человека с седыми висками. Он меня выслушает внимательно, выйдет из-за стола, крепко пожмет мою руку и скажет:

– Спасибо, Вова! Ты оказался настоящим пионером!..

К слову сказать, пионером я не был и потом им так и не стал.

С мыслью о начальнике милиции я уснул. А утром, проснувшись, понял, что идти в милицию не хочется. Я посмотрел на то место, где спала Галина Сергеевна, но ее там не было. Я понадеялся, что кто-то из взрослых успел добежать до милиции и, пока я спал, преступницу арестовали. Но, выйдя на улицу, я тут же увидел Галину Сергеевну. Она на табуретке в тазу стирала какую-то тряпку. На лице ее не было заметно ни малейшего угрызения совести. Я смотрел на нее и думал, что ничего не поделаешь, в милицию идти надо. И опять подумал, что не хочется. Хотя надо. Но не хочется. Хотя надо.

Она подняла голову, и мы встретились взглядами.

– Ты что так смотришь на меня? – спросила она удивленно и улыбнулась. Улыбнулась, как женщины улыбаются мужчинам. – Нет, правда, что ты так смотришь? Ты, может быть, в меня влюбился?

– Нет! – закричал я. – Нет! – И убежал.

И, убежав, подумал, что, может, и правда влюбился.

И именно потому, что влюбился, не пошел в милицию. А может, не пошел, потому что был слишком ленив. Или идейно недостаточно тверд. Или недостаточно тверд, потому что слишком ленив. Да к тому же и влюбчив. Влюбчив, нетверд и ленив, почему и не удостоился крепкого рукопожатия начальника милиции. О чем впоследствии ни разу не пожалел.

Мама приехала

Летом 42-го до Управленческого городка добрались наконец мама – из Ленинабада, а вскоре за ней и папа – из госпиталя.

Мама везла мне большую ананасную дыню (невиданную роскошь), длиной, наверное, с полметра. Но с половиной этой дыни пришлось по дороге расстаться. Управленческий городок был городок режимный. Там находился авиационный завод и что-то еще военное. Поэтому попасть туда нельзя было без особого разрешения или взятки. Взятки охотно брал и разрешения с большой неохотой выдавал какой-то важный начальник. Мама пробилась к нему вместе с дыней. Не представляю себе, как она таскала такую тяжесть, а выпустить из рук не могла.

– Эту дыню, – сказала мама начальнику, – я через всю страну везла своему сыну. Возьмите ее себе.

Начальник, как она рассказывала, ужасно смутился:

– Что ж я, зверь, что ли, отнимать последнее у вашего сына?.. Но, подумав, продолжил: – У меня тоже есть сын, так что давайте поделим: половину вашему, половину моему...

И папа вернулся

После восьми месяцев лечения в госпитале папа приехал почти в том же виде, в каком вернулся из лагеря: солдатское х/б, телогрейка, стоптанные ботсы с обмотками. Но теперь над правым карманом гимнастерки у него была маленькая желтая полоска – знак тяжелого ранения. У него не было ни одного ордена, ни одной медали, потому что тогда ни того, ни другого солдатам отступающей армии не давали. Единственным свидетельством достойного участия в войне была эта желтая нашивка и большая пачка маминых писем, слипшихся от крови.

Теперь отец стал инвалидом. Левая рука была как бы пришта к боку, согнута в локте и не разгибалась, пальцы скрючены и тоже не разгибались.

Возвращение отца было для меня огромной радостью. Я радовался тому, что он вернулся, тому, что был на фронте, и тому, что был ранен. Причем ранен тяжело, с правом на ношение желтой нашивки, а не красной, которая была свидетельством ранения легкого.

Еще до приезда отца был у меня разговор с Галиной Сергеевной. Она позвала меня пойти вместе с ней в лес за хворостом и по дороге спросила, откуда у меня такая фамилия. Я сказал, как слышал от тети Ани, что фамилия наша сербская.

– Ну вот, – удовлетворенно сказала Галина Сергеевна, – а я думала, что белорусская. Некоторые говорят, что еврейская, а я говорю, что этого не может быть. Твой отец – на фронте, а был бы еврей, сидел бы дома.

– Почему?

– Потому что евреи не дураки. Это наши вани там головы кладут за родину, за Сталина, а евреи, люди пронырливые, куют победу в тылу.

Подобные разговоры я часто слышал, и они были мне неприятны. Они напоминали мне, что я тоже имею отношение к этой нехорошей нации, но какие у меня были основания не верить в нехорошесть евреев? Раз люди так говорят, значит, наверное, так и есть. Возразить я не мог, потому что не знал никаких евреев, кроме мамы, бабушки и дедушки. Дедушка на фронте и правда не был, но имел на то уважительную причину: он умер за пять лет до войны.

Поверив, что евреи не воюют, я пошел в рассуждениях дальше и решил, что все мужчины нестарого возраста, которых встречал я в нашем Управленческом городке, – евреи. Поэтому я радовался, что отец у меня не еврей, а настоящий фронтовик, пролил кровь и имеет право с гордостью носить свою желтую ленточку.

Отец почти ничего не рассказывал о войне. Лишь сначала я его пытался расспрашивать, но каждый раз попадал впросак.

Однажды спросил:

– Папа, а почему евреи не воюют?

Отец посмотрел на меня удивленно:

– А кто тебе это сказал?

Я пожал плечами:

– Все так говорят.

– Так, – сказал он, – говорят негодяи или глупые люди. Евреи воюют, как все. Не лучше и не хуже других.

В другой раз я задал папе вопрос, который меня волновал не меньше:

– Папа, а сколько ты убил немцев?

Этот вопрос многие дети задавали своим отцам. И многие отцы с удовольствием на него отвечали. Мой дальний родственник, дядя Вова Стигореско, вернувшись домой в конце войны, весь увешанный орденами, весело рассказывал, как крошил немцев из пулемета и как забрасывал гранатами какие-то блиндажи. Но и до возвращения дяди Вовы подобных рассказов я слышал великое множество. И от отца желал услышать что-нибудь вроде этого. Но папа вдруг ужасно рассердился. Еще хуже, чем на вопрос о евреях. А когда он сердился, у него появлялся такой сверлящий взгляд, который будто пронизывал меня до самого позвоночника.

Он просверлил меня этим взглядом и сказал:

– Я не убил ни одного немца и очень этим доволен.

«А что же ты тогда там делал, на войне?» – хотел спросить я. Но постеснялся и не спросил.

Знаки судьбы

Судьба мне подавала столько знаков предначертанности моих действий, что я не могу не чувствовать себя ведомым неведомой рукой.

Я некрещеный, необрезанный, неверующий, но не атеист.

Я никогда не был в обычном смысле слова верующим человеком, но и никогда (или почти никогда) не был неверующим. Точнее всего будет сказать, что я – незнающий. Или, как говорят, агностик. Я не верю ни в какое конкретное представление о Боге, которое может быть выражено средствами литературы, живописи или скульптуры. Я не верю никаким доказательствам существования Бога и никаким доводам в пользу того, что его нет. Мир устроен слишком рационально. Трудно представить, что он устроился так сам по себе, и невозможно вообразить противное.

Но в судьбу я не могу не верить.

Я совершил в жизни несколько безрассудных поступков, которые мне судьба прощала, но при этом посылала предупреждения.

Одно из них я получил, когда мне было лет восемнадцать. Я работал в Запорожье на стройке плотником и в один из дней с наружной стороны только что построенного дома укреплял оконные рамы на втором этаже. С деревянной стремянкой на плече я переходил от окна к окну, вбивая между рамой и оконным проемом железные костыли. В одном месте на моем пути оказалось подъемное устройство, называемое лебедкой. Как раз в тот момент лебедка поднимала две тачки с раствором, стоявшие на квадратной деревянной платформе. Я хорошо

знал, что под грузом находиться нельзя, но решил испытать судьбу. Со стремянкой на плече я прошел под лебедкой, сделал следующий шаг – и тут же глыба раствора залепила мне плечи и шею. Трос лебедки все-таки оборвался. Случись это на секунду раньше, я был бы расплюсчен, как муха, прибитая мухобойкой...

Коверкотовый костюм

История с папиным коверкотовым костюмом напоминает мне рассказ Петруши Гринева о заячьем тулупчике, подаренном Пугачеву.

Костюм этот был куплен еще до ареста по настоянию матери. Отец надел его несколько раз до ареста и пару раз в коротком промежутке между лагерем и фронтом. Когда ушел воевать, костюм остался у тети Ани и кочевал с нами из одной эвакуации в другую. Живя на хуторе, мы меняли вещи на еду, возникал вопрос и о костюме. Отец, считая себя ответственным за то, что навязал тети-Аниной семье лишнего иждивенца – меня, в письмах с фронта настаивал на том, что костюм при нужде надо продать. Бабушка склонялась к тому же и показывала вещь заезжавшим на хутор калмыкам. Один, весьма упитанный, долго тряс в обеих руках и поднимал по очереди пиджак и брюки, как будто определяя их вес. Потом начал костюм примерять и непременно распорол бы по всем швам, но вовремя был остановлен тетей Аней.

– Нет, нет! – сказала она. – Это не продается.

– Зачем не продается? – спорил калмык. – Всякий вещь продается. Мой рубашка продается. Мой шапка продается. Мой корова продается, да, а твой тряпка не продается, да?

– Да, да, – сказала тетя. – Это не тряпка, это хороший костюм, он не продается. Тем более что он вам и не подходит.

– Подходит, – уверенно сказал калмык. – Моя хозяйка будет делать так, что подходит. Послушай, женщина, я тебе дам вот такого кабана. – Он развел руки, изображая толщину кабана. Подумал, махнул рукой: – И гуся дам. – И другой рукой махнул: – Два гуся дам.

Но тетя не поддавалась, а на воздыхания бабушки реагировала сердито:

– Коля вернется, в чем будет ходить?

Поскольку тетя Аня была в нашей семье главнее бабушки, последнее слово осталось за ней, и костюм вместе с нами поехал во вторую эвакуацию. И теперь хранился под нижними нарами.

На какой-то день после приезда отца тетя Аня объявила ему, что его ждет сюрприз. Полезла под нары за чемоданом и сразу обратила внимание на сломанный замок. Открыла чемодан, но костюма там не увидела. Перебрала все тряпки, надеясь на чудо: костюма не было.

– Как же так, – бормотала она, – как же так! Я только вчера смотрела, он был на месте, а теперь...

Тетя Аня была очень сдержанным человеком и редко плакала. В этот раз она зарыдала в голос.

По странному стечению обстоятельств дядя Костя как раз в тот день ездил в Куйбышев и там на толкучке увидел Галину Сергеевну, торговавшую коверкотовым пиджаком. Дядя Костя сначала ничего плохого не подумал, только заметил, что пиджак очень похож на пиджак брата жены. Но едва он подумал так, Галина Сергеевна странно засуетилась, свернула пиджак и попыталась скрыться. Тогда дядя Костя догадался, что дело нечисто, схватил ее за руку и потребовал объяснений. И заставил ее признаться, что костюм она украла, брюки обменяла на буханку хлеба, а на пиджак покупателей пока не нашла. Дядя Костя отнял у нее и пиджак, и буханку.

Что было потом, я не помню. Наверное, случившееся стало для меня таким шоком, который вызывает провал в памяти. Поэтому я запомнил Галину Сергеевну такой, какой встретил ее у водоразборной колонки, и такой, какая смотрела на меня странным женским взглядом,

когда стирала. Запомнил я ее слова о Сталине и евреях, а что с ней потом случилось (скорее всего, ничего), после того как ее поймали с поличным, совсем не помню.

И дальнейшую судьбу пиджака в памяти не удержал. Знаю только, что отец его не носил и носить не мог, потому что у него рука была как бы пришита к боку. Гимнастерку он как-то специально перекраивал, а с пиджаком вряд ли справился бы.

Городская вошь, куда ползешь?

Не знаю, откуда в отце моем взялась страсть к постоянной перемене мест. Может, от предков-моряков передался ему, сухопутному человеку, беспокойный нрав, заставлявший его срывать с насиженного места (чаще всего недостаточно насиженного) и тащить с собой семью неизвестно куда и необъяснимо зачем.

Впрочем, соображения, побудившие нас покинуть Управленческий городок, были объяснимы. Отец считал, что войну легче пережить в деревне. Он нашел работу счетоводом в совхозе имени какого-то Масленникова в Хворостянском районе Куйбышевской области. Счетовод (не знаю, есть ли сейчас такие должности) – что-то вроде маленького бухгалтера. Эту профессию отец освоил, по-моему, в лагере, и она, как мне казалось, ему нравилась. И мне тоже. Иногда отец, не успев сделать что-то в конторе, приносил домой счета – устройство, о котором теперешние молодые люди в большинстве своем вряд ли слышали. Это деревянные кружки, нанизанные на проволоку и вставленные в деревянную же рамку. Еще, кажется, совсем недавно все бухгалтеры, счетоводы, кассиры были вооружены этими устройствами, как будто бы примитивными, но очень помогавшими совершать все четыре действия арифметики. Мне кажется, эти счета, как, например, колесо, следовало бы включить в число великих изобретений доэлектронной эпохи. Мне нравилось смотреть, как отец ловко управляет с этими костяшками, ловко отщелкивая их то вправо, то влево.

Совхоз Масленникова был огромный – десятки километров из конца в конец – и состоял из семи отделений. Мы жили на Седьмом отделении. Оно раньше считалось деревней и имело свое название, которое было практически утрачено. Я его знал, но забыл, мне помогла его вспомнить местная жительница, когда я там оказался почти через шестьдесят лет.

Местные к нам и другим городским относились с насмешливым презрением, как к неприглашенным нахлебникам. В те времена деревенским людям вообще было свойственно относиться к горожанам как к паразитам, которые не умеют ни пахать, ни сеять, не знают, где у коровы вымя, и, ничем полезным не занимаясь, способны только поглощать то, что выращивают крестьяне. В мирное время скупают все в своих магазинах, а как прижмет, бегут в деревню. Такое отношение к приезжим взрослые выказывали не всегда, зато дети с удовольствием выкрикивали: «Городская вошь! Куда ползешь? – В деревню кормиться!»

Еще один пропущенный класс

Моя мама гордилась тем, что где бы и чему ни училась, всегда и везде была круглой отличницей. Институт, работая и содержа семью, окончила с красным дипломом. Должна была преподавать математику и физику в средней школе, но за отсутствием таковой радовалась, что нашла работу в местной начальной школе, где вела первый и третий классы. Вторым и четвертым классами руководила Марья Ивановна Шарахова, жена офицера, воевавшего под Ленинградом или в самом Ленинграде. Мне по возрасту полагалось учиться в третьем классе, куда я пошел, но учился недолго. Оказалось, быть маминым учеником удел не из лучших. Мать и отец считали, что должны быть по отношению ко мне объективны. В случае моих уличных конфликтов, когда дело доходило до вмешательства в детские разборки старших, папы и

мамы обычно защищали своих детей, независимо от того, кто был виноват. Мои же родители настолько стремились к объективности, что виноватым неизменно оказывался именно я.

В школе мама тоже очень боялась, как бы ее чувства не стали причиной слишком снисходительного ко мне отношения. Если я задачу решал правильно, но не самым кратким путем, она мне уже за одно это снижала оценку, говоря, что, будучи сыном учительницы, я должен соображать лучше других. Она совершенно не считалась с тем, что я, пропустив второй класс, имел право в третьем чего-то не понимать. Дома, после уроков, она готова была сколько угодно времени возиться со всеми учениками, но на меня у нее не хватало терпения. Когда я не понимал ее с первого слова, она начинала топтать ногами и обзывать меня тупицей. В конце концов я отказался у нее учиться. Как ни странно, ни она, ни отец на моем учении настаивать не стали, и я пропустил третий класс без сколько-нибудь уважительной причины. Во второй класс я не ходил, потому что было слишком далеко. В третий мне надо было перейти в соседнюю комнату, потому что мы жили прямо в школе.

Предоставленный сам себе, я целыми днями ничего не делал, а только читал запоем книги, которые даже не помню где доставал.

Всем хорошим во мне

Я никогда не умел читать понемногу, с перерывами. Читая, впадал в состояние, похожее на летаргический сон. Бывало, мать, имея намерение послать меня по воду или вынести мусор, не могла до меня докричаться. Когда это ей удавалось, я говорил: «Сейчас» – и тут же забывал, что сказал. Однажды днем я запер зачем-то дверь на щеколду и читал (по привычке лежа на животе) «Вешние воды» Тургенева. Я был где-то посередине книги, жил и страдал вместе с героями, потом мне стало что-то мешать, какой-то шум, какой-то стук, исходивший из потустороннего мира. Наконец я оторвал голову от книги... и ничего не увидел. В комнате было так темно, что непонятно, как я мог видеть какие-то буквы до этого и чем-то дышать. Густые сизые клубы дыма шли от печки, поднимались к потолку, опускались к полу, заволокли всю комнату плотным туманом. Резко пахло горелой ватой. Я до этого не задыхался, не чихал и не кашлял, не лил слезы от рези в глазах. А тут зачихал, закашлял и от разъедавшего глаза дыма залился слезами. Чуть ли не на ощупь добрался до двери, в которую давно колотили кулаками и ногами Марья Ивановна Шарахова и ее ученики. Оказалось, на печке у нас загорелись и сгорели почти дотла отцовские ватные брюки. Обгоревшие лохмотья вытащили на улицу, затоптали, залили водой, окна раскрыли, комнату проветрили, после чего я вернулся на кровать и раскрыл книгу. Когда меня вывели из летаргии во второй раз (я тут же стал опять задыхаться, кашлять и лить слезы), выяснилось, что сгорела также почти полностью отцовская телогрейка.

Горький сказал: «Всем хорошим во мне я обязан книгам». Я вообще всем обязан книгам. Так сложилась жизнь, что книги стали практически единственным доступным мне учебником жизни и видом искусства (к кино я приобщился позднее). До переезда в Москву в 24 года я в провинции и в армии видел несколько концертов (песни, пляски, «художественное» чтение и «художественный» свист), пять-шесть спектаклей драмтеатров самодеятельных и убогих, но ни разу не был в опере, в балете, в оперетте, не слушал классическую музыку, не знал никаких музеев, кроме краеведческих, с черепками, ржавыми пиками, кольчугами и портретами местных героев социалистического труда.

Но, поглощая книги в большом количестве, я развил в себе способность к партитурному чтению. Скользя взглядом по странице снизу вверх, я как бы сканировал ее и закладывал в память. При этом запоминал все подробности и особо понравившиеся фразы, хотя взгляда на них не задерживал.

За четыре года солдатчины я эту способность навсегда утратил.

В армии, даже мирной, время от отбоя до подъема расписано по минутам. Только раскроешь книжку – команда: «Выходи строиться!» В столовой читать нельзя, в постели – тем более. На посту некоторые ухитрялись, но у меня не получалось. Поэтому хотя я и почитывал что-то время от времени, но прежнего удовольствия, прежней страсти уже не испытывал, за одним-единственным исключением.

Как-то после наряда по кухне я был освобожден от занятий и целый день пролежал в казарме, читая «Милого друга» Ги де Мопассана.

Избиение утят

На Седьмом отделении был большой пруд, в котором я учился и научился плавать. Я заходил в пруд до подбородка и, опустив лицо в воду, плыл к берегу. Потом начал плавать от берега, пока дыхания хватало. Потом от одного берега до другого. Плавание стало для меня невероятной радостью, пока не случилось событие, потрясшее на всю жизнь.

В то утро после завтрака я бежал к пруду, когда увидел картину, которую не забыл до сих пор. Местные мужики набрели в кустах на выводок диких утят и стали бить их палками. Утята на неуклюжих лапках пытались бежать, взмахивали еще бессильными крылышками, пищали, падали, опять поднимались и падали, а мужики с радостным гоготом и не соответствовавшими радости озверелыми лицами бежали за ними и били их палками. Утка-мать с криком кидалась под палки. Мужики весело ее отгоняли, видно, особое удовольствие доставляло им ее беспомощное отчаяние. Утку они отгоняли, а утят продолжали бить. И, лишь покончив с ними, забили и мать. Она-то была сильная, могла улететь, но не улетела...

После этого в пруду я продолжал купаться, но только с другой стороны.

Красное – Зелененькое

Шестьдесят лет спустя побывал я в тех местах, на центральной усадьбе совхоза, или, как это стало называться, АО или ООО имени Масленникова. Встречался с читателями, рассказывал о том, как родился замысел «Чонкина», вспомнил о приземлившемся за околицей самолете и сам удивленно воскликнул: «Слушайте, так это же было именно здесь, на Седьмом отделении!» И спросил, есть ли кто-нибудь, кто на этом отделении жил летом сорок второго года. Оказалось, что есть. Старушка, аккуратная, платье в горошек, косынка белая. Ей в 42-м году восемнадцать лет было, она трактористкой работала на сенокосе. Самолет тот прямо над ее головой просвистел, а когда приземлился, она со страху под трактор залезла: решила, что немцы. Старушка оказалась не лишена литературоведческих задатков, стала меня расспрашивать, почему я воспоминанию своему о самолете сам удивился, неужто не помнил, где именно это случилось. «Да нет, – объяснил я, – не то чтоб я совсем не помнил, но в голове не держал. Описал происшествие и связал его с образом деревни Красное, и это вымышленное селение затмило в моей памяти место, где происшествие с самолетом реально случилось». – «А почему ваша деревня называется Красное?» – заинтересовалась старушка. Я пожал плечами: «Ну, так просто называется. Обыкновенное название, с намеком на то, что оно советское». – «А, может, оно у вас именно от нашего села пошло?» – спросила старушка. «Да как же оно могло от вашего села пойти, когда у него и нормального человеческого-то имени не было, а называлось оно Седьмое отделение». – «А вот и нет, – возразила старушка. – Седьмым отделением его назвали, когда совхоз образовался, а до того было оно село Зелененькое».

Тут я вспомнил: действительно Зелененькое, только мы это название не употребляли и всегда говорили «Седьмое отделение». Или даже просто «Седьмое», а теперь, благодаря старушке, всплыло то, что, казалось, выпало из памяти навсегда.

Старушка сильно меня удивила тем, что стала рассуждать прямо по Фрейдю, имя которого вряд ли когда слышала. Еще раз спросила, как называется вымышленная мною деревня. Я повторил: «Красное». – «Вот именно, – удовлетворенно покивала она. – Вы думали, что Зелененькое наше забыли, а оно у вас где-то сидело. В мозговой памяти. Только не в самой верхней памяти, а поглубже. А потом превратилось из Зелененького в Красненькое».

Я не думаю, что бабушка вполне права. Описывая Красное, я держал в воображении деревню Назарово под Вологдой, но бабушке сказал, что, получи она филологическое образование, вполне могла бы стать заметной в ученых кругах фигурой.

Друг мой, Гулька

У всех членов нашей семьи время от времени возникали прожекты, как наиболее достижимым способом прокормиться. Однажды мама ходила зачем-то за двадцать пять километров в районное село Хворостянка и по пути купила маленького, еще совсем лысого, как будто общипанного, гусенка. Мать была уверена, что он женского пола и, когда вырастет, будет нести нам большие гусиные яйца. Будущую гусыню назвали Гулькой и стали ждать, когда она вырастет и начнет нестись. А она выросла и оказалась гусаком.

Как надо поступать с гусями, все знают. Но мы его резать не стали, поскольку он уже стал членом нашей семьи, а мне больше, чем другом. Скорее, младшим братом, которого мне в детстве очень не хватало.

Мы были с ним неразлучны. Когда я куда-нибудь шел, он ковылял рядом со мной. Когда я сидел, он неуклюже забирался ко мне на колени, на плечи, на голову, гоготал и терся головой о мое ухо или лез в ухо клювом. Разумеется, его тянуло к воде, и я все-таки пару раз ходил с ним на пруд, но не на тот берег, где мужики били утят. Мы с ним плавали рядом, и он смотрел на меня снисходительно, видя, как неловко я это делаю. Мне эти наши заплывы не доставляли большого удовольствия: я боялся, что мужики с другого берега прибегут с палками и забьют Гульку, а я не смогу его защитить. Страх был, конечно, излишний – утят мужики били, потому что те были дикие и ничьи.

Вскоре наши купанья и мои тревожненья прекратились, потому что отца перевели работать на Второе отделение, где никакой открытой воды не было, не считая лужи у колодца с «журавлем». Туда совхозные гуси ходили большими стадами и иногда летали. И даже очень неплохо. Иной раз идут-идут и вдруг, как по команде, подхватятся и на небольшой высоте с криком летят через всю деревню. Обычно они паслись где-то за деревней, но потом их пригоняли к колодцу на водопой. Появление их Гульку всегда волновало. Бывало, он увидит гусиное стадо и бежит к нему. Прибьется сбоку, идет вместе со всеми, гогочет, делает вид, что свой. Но стоило мне позвать: «Гуля, Гуля, Гуля!» – он с криком, хлопая крыльями, спотыкаясь, несется ко мне.

Я любил его, наверное, не меньше, чем любого близкого человека, ну и он меня любил, я думаю, побольше, чем любого гуся. И даже гусыни. Кстати, вообще не помню, проявил ли он себя хоть однажды как гусиный самец.

Не убий

Если на хуторе Северо-Восточном нас изводили вши, то в селе Зелененьком одолевали мыши. Они пожирали все наши и без того скудные припасы и чем дальше, тем больше нагнали.

Однажды, увидев мышь, я разозлился, схватил палку, загнал мышь в угол и занес палку над ней. Ей деваться было некуда, она стала на задние лапки... и рука моя не опустилась. Я не умом в тот миг пожалел мышь и не сердцем, а (невольный каламбур) мышцами. Просто рука мне не подчинилась.

Это заставило меня задуматься: а что же за сила не дала моей руке опуститься? Меня ведь никто не учил, что мышь нельзя убивать (даже отец мой тогда к животнoлюбивым идеям своим еще не пришел). «Ветхий Завет», где помещены десять заповедей, я до тех пор не читал, а если б и читал, то понял бы, что «не убий» к мелким грызунам вряд ли относится. Значит, это у меня шло не от знания и не от воспитания, а от заложенных в меня чувств, или, говоря точнее, инстинктов.

Умные люди

К зиме нас переселили из школы в другой дом, где мы делили одну большую комнату с Шараховыми – Марьей Ивановной, ее матерью Еленой Петровной и трехлетним сыном Вадиком. Зима была суровая, уборная далеко. По нужде ходили в ведро, стоявшее в узком тамбуре между двумя дверьми. Поначалу жили мирно. Мама с Марьей Ивановной занимались общим хозяйством, носили воду, ходили в лес, валили небольшие деревья, втаскивали их во двор и там на козлах пилили. Иногда и меня к этому привлекали. Мама моя была маленькая, чуть выше полутора метров, но ловкая. Когда-то в молодости она работала в Архангельской области на лесозаготовках, а теперь учила Марью Ивановну и меня, что пилу надо держать ровно, тянуть на себя не резко, не давить и не толкать, когда тянет напарник. Мне казалось, ей даже нравилось, что она такая вот маленькая, а хватает и сил, и умения и пилить деревья, и колоть дрова, да еще и учить других.

Зимой приехал на побывку выбравшийся каким-то образом из осажденного Ленинграда муж Марьи Ивановны, старший лейтенант. Он развязал «сидор», вещмешок, и оттуда посыпались консервы, кусок сала, два круга колбасы, сухари, пряники, карамельки, что-то еще. Вечером Шараховы устроили ужин и нас пригласили. Оглядывая богатый стол, мама сказала:

- А я слышала, что в Ленинграде ужасный голод.
- Умные люди, – заметил Шарахов, нарезая колбасу, – везде жить умеют.

Мама отодвинула тарелку и сказала:

- Спасибо. Было очень вкусно...

С того ужина в отношениях между мамой и Шараховыми наметилась трещина, которая вскоре переросла в ссоры и скандалы по всякому поводу. То спорили, кому в какой очередности мыть пол, то не могли поделить у плиты две конфорки, то проводили посреди комнаты условную границу, через которую противной стороне переступать воспрещалось. Иногда мама и Шарахова даже пытались между собой не разговаривать, но это не всегда получалось. Бывало, мама говорила:

- Вы залили плиту вашим супом. Могли хотя бы ее протереть.
 - Кому мешает, тот пусть и протрет, – отвечала Шарахова.
 - Не кому мешает, а тот, кто устроил это безобразие. И горшок после ребенка надо сразу выносить, он воняет.
 - Сама воняешь.
 - Тьфу, дура! – плевалась мама.
 - А ты жидовская морда! – несло в ответ.
- Тем разговор и заканчивался.

Умение быстро записывать

В Зелененьком была неплохая библиотека, и в ней попались мне пьесы Александра Николаевича Островского. Я взял их с некоторым сомнением, но сразу же зачитался, а дочитав первую пьесу, не помню теперь, какую, понял, что в литературе мне больше всего нравится прямая речь. Описания природы или внешности героев, какие у кого были глаза, волосы или

уши, меня совершенно не интересовали, я это часто в прозе пропускал, перескакивая сразу к строкам, начинавшимся со знака «тире». Поэтому после Островского я читал исключительно пьесы, все, которые мне попадались, включая Гоголя, Грибоедова, Шекспира и Шиллера. Но пьесы Островского мне понравились особенно тем, что я очень ясно себе представлял все в них написанное. Хотя я и знал (в этом уверяла меня бабушка), что писатели все выдумывают из своей головы, но поверить в то, что и разговоры Островским придуманы, я не мог. И решил попробовать себя в жанре драматургии. Как раз тогда, к моему удовольствию, между мамой и Шараховой возник очередной скандал, и их разговор содержал очень сильные выражения. Я схватил старую, не до конца заполненную тетрадь и стал записывать слово в слово, что слышал. Но никак за мамой и Шараховой не поспевал и в конце концов бросил это занятие с убеждением, что Александр Николаевич Островский умел не только лучше меня писать, но, главное, быстрее записывать.

Две мамы

Расставшись с семьей Шкляревских, я ужасно скучал по тете Ане, Вите и бабушке, а к собственным родителям привыкнуть не мог. Общение с теткой было мне интересней, чем с матерью. Тетка считала меня способным и умным ребенком, говорила со мной, как со взрослым, уважительно. Мама же о моих способностях, напоминая, была невысокого мнения. Это развило во мне комплекс неполноценности, представление о своей полной никчемности, и, берясь за какое-то дело, я его оставлял, думая, что я не смогу, у меня не получится.

За всякие мелкие провинности мама меня ругала, а когда особенно сильно сердилась, могла сказать: «Чтоб ты сдох, проклятый!» Вообще, подобные пожелания она часто адресовала отдельным людям, а порой и целой группе людей (иногда это были руководители партии и правительства): «Чтоб они все повыздыхали!» Сама она к своим проклятиям серьезно не относилась и любила со смехом рассказывать, как я в детстве отвечал ей тем же. Вспоминала, как я ей в трехлетнем возрасте сказал: «У, мама, сёты маты сёб ты доха!» Что в переводе означало: «У, мама, к чертовой матери, чтоб ты сдохла!» Так же несерьезно относилась мама и к побоям, которым часто меня подвергала. Чуть что, начинала драться. Причем не шлепала, а пускала в ход кулаки. Кулаки у нее были маленькие, тыкала она ими не в лицо, а в грудь, физической боли мне не причиняла, но я плакал, чувствуя себя оскорбленным. При этом я всегда сравнивал мать с тетей Аней, которая не только не била меня, но и голоса не повышала. Она вообще считала битье детей преступлением. Наверное, благодаря тете Ане и я на своих детей никогда руку не поднимал...

Оказавшись в Германии, я узнал, что избиение детей родителями там уголовно наказуемо.

Генами обреченный

Почему моя мать не верила в наши с сестрой способности, мне этого никогда не понять. Сама она была очень способной. Училась урывками, но была всегда и везде первая (чем и гордилась). Когда отца моего посадили, мама, работая по вечерам и имея на руках двоих иждивенцев, меня и бабушку, закончила с отличием дневное отделение Ленинабадского пединститута. Преподавала впоследствии математику в старших классах, а внеклассно (и бесплатно) готовила многочисленных учеников к поступлению в самые строгие вузы страны, включая МГУ, ЛГУ, МИФИ, ФИЗТЕХ и прочие. И ученики ее (если не были евреями), как правило, самый сложный тамошний конкурс преодолевали успешно.

Математика была маминой непреходящей любовью. Найдя, бывало, где-то особенно заковыристую задачу для самых непроходимых математических факультетов, мать в нее жадно

вгрызалась и могла по нескольку дней, теряя аппетит и просыпаясь по ночам, колдовать, пока не находила решение.

Она говорила, что ей для сложных решений в уме нужна реальная и чистая плоскость, например потолок, на котором она мысленно располагала, складывала, делила, перемножала и возводила в степень громоздкие числа с многоступенчатыми превращениями. Решая задачу, она блуждала взглядом по потолку, шевелила губами и дергала рукой, словно чертила мелом.

Второй ее страстью были книги, которые она заглатывала в огромном количестве. Я встречал в жизни много людей начитанных, но прочитавших столько, пожалуй, не видел. Во всяком случае, она прочла книг гораздо больше, чем мой отец, я и моя сестра, вместе взятые, хотя мы тоже были читатели не последние.

Читать мама любила лежа, а в годы наибольшего благополучия еще и с шоколадной конфетой, заранее отложенной «на после обеда».

Надо при этом признать, что читала она без особого разбора, испытывая склонность к сочинениям романтическим, нравоучительным, с положительными героями, а под конец жизни всей другой литературе предпочитала серию «Жизнь замечательных людей», восхищаясь мужеством, стойкостью, благородством и неподкупностью ее беллетризованных персонажей.

Отец вообще был человеком очень одаренным литературно и столь высоких нравственных качеств, какие я в такой концентрации в серии «Жизнь замечательных людей» встречал, а просто в жизни, пожалуй, нет.

В любом случае при таких генах я был просто обречен на обладание какими-то способностями и не совсем заурядным характером и ума не приложу, почему матери было так важно этого не замечать.

Погоны и рукоприкладство

Мама ревновала меня к тете Ане, но после долгих уговоров поддалась на мои настойчивые просьбы и разрешила мне погостить у Шкляревских в Управленческом городке. В конце лета отец отвез меня к ним. Шкляревские по-прежнему жили на опушке леса в бараке, но теперь у них на пять человек была в нем отдельная комната с печкой. Я стал шестым членом семьи. Сначала было все хорошо. Шкляревские существовали сравнительно благополучно, а на случай неблагополучия держали кролика Васю с намерением съесть его, когда прижмет, или помиловать, если обойдется (примерно такие же утопические планы, как у моих родителей).

У кролика была клетка, но он в ней только ночевал, а в остальное время бегал по комнате, иногда выходя и на улицу. Бабушка боялась, что он убежит в лес, но тетя Аня уверяла ее, что Вася – не заяц, делать ему в лесу совершенно нечего.

Недалеко от барака, где жили Шкляревские, в отдельном домике располагалось маленькое военное подразделение – десяток немолодых красноармейцев, вооруженных трехлинейными винтовками. Что они там делали, я не знал, по моим представлениям, только чистили, варили и ели картошку. Наверное, картошки у них хватало, потому что они чистили ее неэкономно, половину переводили на очистки. Заметив это, я стал ходить к ним с ведром, просил очистки для кролика. И кое с кем подружился. Теснее других сошелся с бывшим колхозником, которого все звали Семеныч. Он был похож на Максима Горького – высокий, сутулый, с вислыми усами. И даже окал, как Горький. Семеныч питал ко мне определенную слабость, потому что у него, как он говорил, был сын такой же, как я, и еще две девочки. Семеныч давал мне пострелять из незаряженной винтовки, показывая, как она устроена. Я кое-что запомнил и потом, попав в армию, удивил своего первого старшину знанием, что затвор состоит из частей, которые называются стебень и гребень с рукояткой.

Между прочим, тогда, в сорок третьем году, в армии ввели погоны, и командиры стали называться офицерами. Это многих шокировало, потому что советская пропаганда воспитывала в людях отвращение к «золотопогонникам» и к самому офицерскому сословию. С возвращением погон были возвращены и некоторые правила взаимоотношений между военными, якобы бывшие в царской армии. Например, рукоприкладство.

Восемь лет спустя, когда я сам оказался в армии, нам втолковывали: да, начальник имеет право бить подчиненного, и тыкали пальцем в Устав, где было написано, что в случае попытки неподчинения приказу начальник имеет право применить все меры воздействия – вплоть до силы и оружия. Устав предусматривал возможность лишь попытки неисполнения приказа, но самого неисполнения не предполагал. То есть, строго по Уставу, если солдат отказывался исполнить приказ, его надо было принудить любым способом, вплоть до избиения и расстрела. На самом деле этот пункт Устава в мирное время не соблюдался, я сам отказывался подчиняться некоторым приказам, и не раз, но жив остался. И не били, во всяком случае, у нас, в авиации, никого.

Но в сорок третьем году я оказался свидетелем действия нового Устава.

Семеныч в очередной раз разрешил мне повозиться со своей винтовкой и показывал, как нужно совмещать мушку с разрезом в прицельной планке, когда вдруг раздался громкий окрик:

– Это что такое?!

Семеныч выхватил у меня винтовку, вскочил с земли, вытянулся перед невысоким, коренастым, еще не опогоненным офицером.

– Ты!.. Твою мать! – закричал офицер. – Какое право имеешь давать пацану оружие?!

И, не вдаваясь в дальнейшие объяснения, подскочил – без подскока достать до лица не мог – и залепил Семенычу мощную оплеуху. Очень умело – видно, и до армии был натренирован.

Повернулся и пошел быстрым шагом прочь.

После этого ни Семеныч, ни другие солдаты винтовку мне не давали, но в картофельных очистках не отказывали.

Сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя

Не помню уж почему, но осенью я к родителям не вернулся и пошел в четвертый класс. Начался голод, и чем дальше, тем ощутимей. Я не помню, сколько нам давали хлеба и других продуктов по карточкам, и вообще давали ли что-нибудь, кроме хлеба, но голод был самый настоящий, не сравнить с привычным недоеданием. Люди превращались в ходячие скелеты или, наоборот, распухали, как надувные фигуры. Лица у распухших были синие, и кожа казалась прозрачной. Многие умирали прямо на улице.

В школе нам давали в дополнение к иждивенческой норме еще 50 граммов хлеба. У одноклассника Олега, с которым я подружился, мать работала продавщицей. Не будучи голодным, он предлагал мне всегда свою пайку. Я же, несмотря на голод, не брал, стеснялся. У нормального голодающего человека какие-то чувства, может быть, и ослабевают, но не исчезают совсем. Когда рассказывают, что есть люди, во время голода пожирающие собственных детей, надо иметь в виду, что речь идет об уродах, из тех, которые в обыкновенное время могут подбросить своего ребенка кому-то, спустить его в мусоропровод, а то и умертвить. У нормальных людей, как бы они ни голодали, людоедских побуждений не возникает...

Я ослабел настолько, что не мог ходить в школу. Я постоянно мерз, целые дни проводил на лежанке у печки и никак не мог согреться. Но через силу вставал и шел к солдатам за очистками для кролика, которого у нас на самом деле уже не было. С наступлением голода мы его не убили, но стали объедать: только часть очисток доставалась ему, а остальное мы сами

съедали. Кролик сначала тощал вместе с нами, но потом сбежал, предпочтя, наверное, быструю кончину от руки голодающего растянутой во времени и мучительной смерти от голода. Кролик пропал, но я продолжал исправно ходить за очистками, солдаты не отказывали, но удивлялись: «Что это ваш кролик так много ест?»

Я очень хорошо помню тот голод, но описать его впечатляюще уже не смогу. Потому что есть память ума и память чувства – то, что помнится кожей, спиной и желудком. Когда-то я об армии мог написать много, но не спешил, а теперь память осталась, но чувство ушло, и я уже не могу пережить заново ощущение, которое человек испытывает при команде «подъем!», или при встрече в самоволке с патрулем, или страх перед старшиной, или еще что-нибудь в этом роде. Я все это помню, но одних воспоминаний мало. Раньше, видя остриженного наголо солдата, я себя ощущал им, а теперь мне даже не верится, что и я был таким же. Так и с голодом...

Дядя Костя убил камнем ворону. Мы ее съели всей семьей.

Витя поймал в силки воробья. Тоже разделили на шесть человек.

Как-то я спросил у тети Ани, можно ли вылизать кастрюлю. Она сказала: нет, сегодня кастрюлю вылизывает дядя Костя.

Тетя Аня у нас заведовала дележом всего съестного. Хлеб, получаемый на всю семью, делила на три больших куска, соответствовавших рабочим пайкам дяди Кости, Севы и Вити, и на три маленьких кусочка получателям иждивенческих карточек: мне, бабушке и себе. Я однажды как бы невзначай заметил, что папа хлеб всегда делит поровну. Тетя Аня отреагировала на это сердито, сказав, что дядя Костя, Сева и Витя тяжело работают физически и тратят много калорий, а мы ничего не делаем и ничего не тратим. Если они будут есть столько же, сколько мы, они умрут, а мы за ними, потому что сами себя не прокормим.

Очистки мы сначала варили, потом стали делать из них блинчики.

Дядя Костя где-то кому-то сколотил гроб и получил гонорар – две бутылки машинного масла, более или менее съедобного. На этом масле бабушка стала жарить блинчики из вареных очисток. Блинчики казались мне очень вкусными, но их было мало.

Мы все, кроме дяди Кости, продолжали тощать, а он, всякую еду разбавлявший водой, распух.

Почему родители в ту зиму не сразу забрали меня назад, к себе, я не знаю. Может быть, просто не предполагали, что мы голодаем.

Когда я был съедобен

Первый раз меня собирались съесть, и отнюдь не в переносном смысле, а самым натуральным образом, когда мне было десять месяцев от роду. Мои родители, которые всю жизнь зачем-то колесили по всем доступным им пространствам, привезли меня из Таджикистана в город Первомайск на Донбассе показать своего первенца бабушке Евгении Петровне и дедушке Павлу Николаевичу, которые в те места тоже попали случайно.

К тому времени на Украине уже начался знаменитый голод 1933 года.

Мать моя, по молодой беспечности оставив меня где-то на лавочке, отвлеклась на какое-то дело, а когда вернулась, того, что оставила там, где оставила, не было. Ей повезло, что тетка, которая меня украла, еще не успела удалиться, что она была неопытная воровка и слишком слаба для борьбы с разъяренной матерью.

Таким образом, я был спасен для дальнейшего сопротивления бесконечным попыткам разных людей, организаций и трудовых коллективов съесть меня, как говорят, с потрохами.

Вареное сало

Я уже совсем «доходил», когда в декабре 43-го приехал отец с набитым доверху рюкзаком. Само собой, всех интересовало, что в рюкзаке.

– Сейчас посмотрим, – лукаво сказал отец и, поставив рюкзак на стол, стал его развязывать.

То ли узел был слишком тугой, то ли отец интриговал, но процесс развязывания длился нестерпимо долго, а я все это время глаз не сводил с рюкзака. Наконец узел развязался, и отец (он еще не был тогда вегетарианцем) с видом фокусника стал вынимать из мешка завернутые в газету куски сала. Вареного! Я был разочарован до слез. Я помнил, что на свете нет ничего противнее вареного лука и вареного сала. Оно отвратительнее даже рыбьего жира. Меня, если оно попадалось в супе, всегда от него тошнило. Но все-таки я один кусок взял и сначала осторожно лизнул, потом откусил, стал жадно жевать и понял, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее. Я уверен, что никакой гурман ни от какого самого изысканного деликатеса никогда не получал того наслаждения, которое я испытал тогда.

Новый гимн

Когда меня спрашивают, счастлив ли я, я не могу ответить утвердительно. И чужому утверждению не поверю. Счастье как острое ощущение радости жизни не может быть долговременным состоянием человека, который, как бы удачно ни сложилась его судьба, неизбежно переживает горестные дни, связанные с болезнями и потерей близких, с личными неудачами в работе, в любви или в чем-то еще. Если в какой-то период жизни у него нет личных причин для страданий, он не может оставаться безразличным к страданиям других. Но минуты счастья – и даже острого – бывают у всех. Я думаю, самые острые приступы счастья бывают в момент избавления от несчастья. Или, например, если ты умирал с голоду и вдруг получил кусок хлеба, да еще с маслом. Счастье...

Отец приехал не только чтобы нас накормить салом, но и чтобы наконец-то забрать меня домой, в деревню.

До вокзала шли пешком, и я – кожа да кости – очень сильно замерз. У вокзальной стены, где висела газета «Правда», мы остановились и прочли текст нового гимна СССР. Прежний гимн «Интернационал» переводился на роль только партийного.

– Нравятся тебе эти слова? – спросил отец.

Я сделал такое лицо, как если бы мне, сытому, предложили кусок вареного сала.

– Мне тоже не нравятся, – сказал отец.

Он никогда ничего плохого не говорил при мне о советской власти, но из отдельных междометий, ужимок и усмешек было ясно, что власть эта ему очень не нравится. Разумеется, так было не всегда, но в лагере отец кое-что переосмыслил. Я же по малолетству, несмотря на усмешки отца, реплики тети Ани и ностальгические вздыхания бабушки о жизни до революции, к советской власти относился лояльно. Но потоки славословий и трескотни уже тогда меня раздражали, и бездарный фальшиво-напыщенный текст главной песни страны отвратил от себя даже меня, одиннадцатилетнего. Неприязнь к этому гимну осталась у меня навсегда...

Фирменное блюдо

В конце 1942 года в Управленческом городке бабушка провела для нас сеанс спиритизма. Написала на листе бумаги все буквы алфавита, нарисовала на краю обратной стороны блюдца стрелку и вызвала почему-то дух Тараса Шевченко. Блюдце, движимое потусторонней силой

(и бабушкиными руками, хотя сама бабушка уверяла нас, что не она блюдо двигает), стало ползать от буквы к букве, из которых на естественный вопрос составилась ответ, что война закончится победой Красной Армии 20 февраля 1944 года.

В декабре 43-го, когда отец вез меня, полуживого, домой в деревню, перелом в войне после Сталинградской битвы уже наметился, но было очевидно, что даже классики из загробного мира могут ошибаться в прогнозах. До конца не каждому суждено было дожить не только на фронте, но и в тылу. Вот и со мной в голодном Управленческом городке, если бы не приехал отец и не забрал меня оттуда, неизвестно, что стало бы.

Мать, увидев меня, вскрикнула, но сделала вид, что ее вскрик относится не ко мне, а к чему-то стороннему. А я понял, что как раз ко мне он и относится, но никак не отреагировал: долгий голод делает человека бесчувственным.

– Ничего, – сказала мама, – я тебя откормлю. Ты поправишься, вот увидишь...

Мама говорила со мной так, как говорят со смертельно больным, – сама не веря в то, о чем ему говорят. Но мне было все равно, поправлюсь я или нет. Совсем все равно. Не помню, сколько прошло времени, пока не вернулось ко мне ощущение радости жизни. До того я лежал, равнодушный ко всему, и даже друг мой Гулька, когда лез клювом мне в ухо, меня не радовал.

Мама потом рассказывала, что я спал с открытыми глазами и так тихо, что она, желая убедиться, дышу ли я еще, подносила к моим губам зеркало. Я дышал. И ел. И отъедался. Ради меня была зарезана свинья Машка. Свиней мама еще до войны заводила. Но привыкала к ним и превращать их в свинину не могла, давала им дожить до естественной смерти. Машка была первым и последним животным в нашей семье, подвергнутым закланию.

Я отъедался и вскоре не то чтобы стал привередливым (этого во мне нет и сейчас), но мог проявить уже какие-то предпочтения в еде. И когда мама однажды спросила, чего мне хочется больше всего, я попросил приготовить мне мое любимое блюдо – блинчики из картофельных очисток.

Одной из прочитанных мной еще на хуторе книг был сборник рассказов Джека Лондона, а в нем – «Любовь к жизни», произведшая на меня сильнейшее впечатление. Рассказ, как я потом узнал, был одним из любимых рассказов Ленина, так что наши с Владимиром Ильичом вкусы в данном случае совпали. Рассказ этот – о золотоискателе, который во время своих злоключений так изголодался, что, оказавшись, в конце концов, на спасшем его корабле и получая там вполне достаточное питание, крал сухари, прятал в сундук и не мог остановиться. Я сухари не крал и не прятал, но поныне испытываю душевное неудобство, когда приходится (а куда денешься?) выбрасывать заплесневелый кусок. Или когда вижу, как кто-то слишком толсто чистит картошку. Я никакой морали из этого не вывожу, но при виде ножа, безжалостно корнящего картофелину, отвожу глаза в сторону.

Мама к моему заказу сначала отнеслась недоверчиво, считая, что это блажь. Я настаивал. В конце концов, она уступила и пожарила блинчики на сале зарезанной Машки. Я взял блинчик, откусил – и выплюнул. Отвратительнее этого я ничего никогда не пробовал. Кроме разве вареного сала.

Новое путешествие

Поправляясь, я заметил: то же самое происходит и с мамой. Папа сказал, что мама ожидает ребенка. Я удивился не тому, что мама ожидает, а тому, что про себя папа того же не сказал. Выходило, что мама ожидает, а он вроде бы нет. И я решил, что буду ожидать вместе с мамой. Я ожидал, разумеется, братика.

Пока я ожидал этого события, пришло другое, неожиданное. Родители объявили мне, что мы переезжаем в деревню под Вологдой, где работает председателем колхоза мамин брат дядя Володя, Владимир Климентьевич Гойхман. Опять проявилась цыганская натура моих роди-

телей (больше отца, чем матери): ни с того ни с сего срываться с места и тащиться куда-то с жалкими пожитками, преодолевая трудности, на которые могут сегодня добровольно согласиться только отчаянные экстремалы. Наверное, перед поездкой велась какая-то переписка с дядей Володей, в которую меня родители не посвящали. Надежда на то, что дядя Володя сможет улучшить качество нашей жизни, была иллюзорна. Так или иначе, мы собрались. Гульку, моего закадычного друга, оставили соседям, мама взяла с них слово, что они гуся не зарежут. Я думаю, что слово было взято для очистки совести...

Современному человеку вообразить невозможно, что представляли собой тогдашние путешествия по железной дороге, когда поезда брались штурмом, а вагоны набивались народом, несчастным, грязным, вшивым и вороватым. Москва как режимный город для транзитных пассажиров была закрыта. У нас были пересадки в Куйбышеве, в Сызрани, в Горьком и в Ярославле. Где-то мы пересаживались с поезда на поезд на том же вокзале, где-то надо было перебраться с одного вокзала на другой и там ждать поезда часами и сутками. В Сызрани мы провели ночь на кафельном полу. Я вместо подушки подложил под голову мешок с напеченными мамой в дорогу пирогами, а когда проснулся, мешка не было. Вору тащили все, что могли.

В Горьком от станции Всполье до главного вокзала мы, отец, мать на девятом месяце, и я, полудохлый, шли по льду через Волгу.

Первый учитель

В Вологде нас встретил дядя Володя. Легкие сани с запряженной в них резвой лошадкой ожидали нас прямо на перроне. По раскатанной снежной дороге мы быстро пролетели двенадцать километров и въехали в Назарово – деревушку на высоком правом берегу реки Тошня. Деревня выгодно отличалась от тех, что я видел до того времени. Здесь избы стояли высокие, иные в два этажа, и все с теплыми уборными внутри.

Семья дяди Володи состояла из шести человек. Его мать (моя бабушка Эня), он сам, жена тетя Соня и трое сыновей 15, 9 и 5 лет, которым он испортил жизнь, дав еврейские имена Юдий, Эммануил и Колман. Старшему впоследствии удалось переименоваться в Юрия, младшему – в Николая, а средний формально остался Эммануилом, но когда вырос и стал строительным начальником, подчиненные звали его для простоты Михаилом Владимировичем.

Меня поселили в одной комнате с Эммануилом.

Сначала я с Эмкой держался снисходительно, все-таки два года разницы в возрасте давали мне такое право, но вскоре уверился, что младший брат во всех отношениях меня обрзованнее. Он стал моим учителем, опекуном и даже нянькой. По вечерам перед сном он мне рассказывал русские народные сказки, причем все очень скабрзные, которые знал в большом количестве. Я не мог себе представить, откуда Эмка знал их столько, и лишь в зрелом возрасте понял, что сказки были афанасьевские – брат их просто прочел в книге из отцовской библиотеки.

Утром тетя Соня выдавала нам по куску серого хлеба, граммов сто пятьдесят, и мы отправлялись в школу в деревню Новое. Здесь, как и в других деревенских школах, учились вместе: во вторую смену первый и третий классы, а в первую второй и четвертый.

Эмка учился во втором, а я, пропустив два класса, пошел, уже в конце года, в четвертый. Я плавал по всем предметам и остался бы на второй год, если бы не Эмка, знавший на отлично все, чему учили в четвертом, и охотно ставший меня натаскивать.

Полуторакилометровый путь мы обычно преодолевали часа за два, разговаривая о том о сем. Заодно Эмка помогал мне освоить дроби. Чертил цифры на снегу и терпеливо объяснял, почему одна вторая больше четырех десятых. С его помощью я быстро догнал и перегнал одноклассников. Это оказалось нетрудно: все они были ребята туповатые. Самыми тупыми были две дылды-близняшки, носившие не только нормальные собственные имена, но и общее

прозвание Паладурки (то есть Полудурки). Им, второгодникам в каждом классе, было уже лет по шестнадцати, формы у них вполне развились, но к ученью они были катастрофически неспособны. Когда учительница Клавдия Николаевна вызывала к доске любую из Паладуток и предлагала разделить двенадцать на четыре или показать на карте, где находится Москва, их лица покрывались разноцветными пятнами, они потели и не могли произнести ни слова. Но и сама Клавдия Николаевна была человеком не слишком обширных знаний, над чем мы с Эмкой между собой потешались. Часто перед началом занятий она проводила с нами краткие политзанятия, читала газетные сообщения о положении на фронте и основных мировых событиях. Поскольку почти везде шла война, сообщения о том, что было в одном месте, часто приходили из другой географической точки. Например: «Стокгольм. Здесь в дипломатических кругах распространяются слухи, что в Румынии готовится государственный переворот».

Я поднимаю руку:

– Клавдия Николаевна, а где находится Стокгольм?

Она секунду мешкает, возвращается глазами к заметке и – вот ответ:

– Стокгольм? В Румынии.

Мы с Эмкой, зная, где находится Стокгольм, переглядываемся и подмигиваем друг другу, очень довольные...

Эмка показал себя знатоком не только школьных предметов. Именно он объяснил мне, откуда берутся дети. Мои собственные сведения на сей счет были к тому времени половинчатые. Я знал, что детей рожают женщины, но даже не подозревал, что в процессе зачатия участвуют и мужчины. Эмка рассказал мне, что муж и жена по ночам раздеваются догола, он ложится на нее, и они, как Эмка сказал, «...утся».

То, что он произнес это слово, меня шокировало. Слово я знал и сам матерился до восьми с половиной лет. Но когда мы приехали перед войной в Запорожье, где я познакомился с Сеовой и Витей, они мне объяснили, что такие слова говорить нельзя, их произносят только хулиганы и темные грубые люди. В Назарове таким темным грубым человеком был старик Проворов, который ездил на полудохлой лошади, нещадно сек ее кнутом и выкрикивал слова, не имевшие, как я думал, никакого реального смысла. Но, оказывается, смысл у этих слов очень даже имелся, и глагол, которым Эмка обозначил действия, проводимые по ночам мужьями и женами, означает...

Эмка даже нарисовал на снегу что-то наглядное.

Я к его рассказу отнесся с большим недоверием. Эмка рассердился:

– Ты что, никогда не видел, как...утся собаки и коровы?

О, да-а! Это я, конечно же, видел! Но собаки и коровы – животные, которые лежат в лужах, роются в мусоре, могут сжевать висящее на веревке белье и вообще позволяют себе все, что угодно. Чтобы «этим» занимались взрослые приличные люди, например дядя Володя и тетя Соня, тем более мои родители, – я представить себе ну никак не мог.

– Ты все врешь! – сказал я Эмке.

– А вот и не вру.

– Врешь!

Спор довел нас до драки, и я разбил своему учителю нос.

Догадки и сомнения

Несмотря на разбитый нос, Эмка не оставлял своей просветительской деятельности и подсунул мне книжку из дяди-Володиной библиотеки. Это был французский роман (кажется, не Мопассана) о даме, которая называлась «гулящая женщина» и занималась своим делом по бедности, с разрешения мужа. Муж тем же делом тоже занимался с ней, но перестал ее беспокоить, когда она заболела сифилисом. И все же однажды под наплывом чувств не сдержался

и, как написано было в книге, «привлек ее, одетую, к кровати». Эта фраза меня больше всего взволновала. Что значит «привлек ее, одетую»? Значит, в ее «одетости» было что-то необычное? Значит, обычно он привлекал ее раздетую?

– Мама, – спросил я вечером, – а что такое «гуляющая женщина»?

Мой невинный вопрос маму очень смутил.

– Это нехорошая женщина, – сказала мама неохотно. – А где ты слышал такие слова?

– Прочел здесь, – я показал маме книжку.

– А зачем ты читаешь такие книги? – спросила она. – Тебе такие книги читать нельзя.

Я удивился, что есть книги, которые нельзя читать. И сам себе задал вопрос: а как узнать, что книгу нельзя читать, не прочитав ее? Позже я открыл для себя, что интереснее всего читать именно те книги, которые нельзя читать, и вспоминал об этом своем открытии во времена расцвета самиздата.

Рассказы Эмки, мои личные наблюдения над жизнью и уклонение родителей от объяснений по интересующему меня вопросу стали причиной ошеломительных догадок и мучительных сомнений на долгие годы. Родители меня воспитывали так, что есть органы и функции организма и связанные с ними действия, о которых не то что говорить, но и думать стыдно. А если они сами занимаются тем, о чем говорил Эмка, и при этом не стесняются смотреть в глаза друг другу и своим детям, если то, чем они занимаются, не постыдно, то почему они это скрывают? А если стыдятся, то зачем занимаются? Как миллионы подростков до меня и после, я испытал разочарование в собственных родителях. И о себе самом я думал тоже очень нелестно. Я еще верил, что «про это» ни говорить, ни думать нельзя, но чем дальше, тем больше «про это» думал. А когда стал реально испытывать поначалу ни на кого не направленное влечение – и вовсе его устыдился и думал: какой я скверный мальчик!

Прилетели гули...

Вопреки загробным предсказаниям Тараса Шевченко, чей дух, вертя блюдечко, вызвала бабушка, папина мама, 20 февраля 1944 года война не кончилась. Но 21 февраля случилось тоже событие важное: родилась моя сестра Фаина. Нас стало слишком много, чтобы дальше жить у дяди Володи, и мы переехали в крайнюю избу, где до нас жила в одиночестве и нам ужасно обрадовалась неграмотная старуха баба Евгения. У нее были черные руки с пальцами, настолько искривленными в одну сторону, что они походили на свастику. Баба Евгения охотно ухаживала за моей сестренкой и, укачивая, пела ей всегда одно и то же:

– А-а, люли, прилетели гули...

Дальше она текста не знала и бесконечно повторяла одну эту строчку.

Иногда Фаину укачивал я. Фаина подолгу не засыпала, лишь замолкала, но, как только я переставал качать колыбельку, плакала. Чтобы как-то разнообразить скучный процесс, я стал баловаться: толкал колыбельку от себя и отпускал, а она сама ко мне возвращалась. Однажды я толкнул слишком сильно, и она опрокинулась. Сестренка выкатилась на пол. Я обмер от страха. Мне показалось, что я ее убил. Я кинулся к ней и увидел, что она смотрит на меня удивленно, как бы спрашивая: «Что это было?»...

Как Вова полел морковку

Мой друг Бенедикт Сарнов долго получал пенсию выше моей, потому что он, 1927 года рождения, во время войны автоматически считался «тружеником тыла», и государство ему платило за невзгоды, которые ему предположительно выпали бы, если бы он работал. Но он во время войны не работал. А меня государство этой добавкой не баловало, потому что я, будучи на пять лет моложе Сарнова, тружеником не считался. Но дело в том, что я с весны

1944 года, после окончания четвертого класса, как раз работал, и не по сокращенной норме, какую впоследствии вводили для городских подростков, а как все колхозники, от зари до зари.

Начал с прополки колхозного огорода. Об этом в семье дяди Володи сохранилось юмористическое предание под названием: «Как Вова полол морковь». Много лет дядя Володя с удовольствием рассказывал, как Вова, работая на прополке, засыпал в борозде. И как было мне не засыпать! Меня, маленького и тщедушного, еще не оправившегося от перенесенного голода, включили в бригаду деревенских баб, среди которых равными им выглядели достигшие половой зрелости наши две Паладурки, здоровые девки с большими грудями и крепкими ляжками, неспособные к умственным занятиям, но привычные к полевым работам. Здесь они чувствовали свое явное превосходство и насмехались надо мной, мстя за насмешки над ними в школе. Мне хотелось за ними угнаться – но куда там! Они и другие бабы становились шеренгой вдоль грядок, наклонялись и сразу брали высокий темп, изредка разгибаясь, чтобы смахнуть пот со лба. Быстро, как автоматы, шевелили они руками и сложенным фронтом ритмично передвигались вперед. А я не мог так быстро работать. Я плохо отличал морковные стебельки от похожего на них сорняка. Пока я каждый стебелек разглядывал, определяя, что есть что (часто все-таки путал и выдергивал морковь), мои напарницы уходили далеко-далеко, и высоко поднятые зады их, как паруса, маячили на горизонте. Я в истерике начинал дергать траву уже без разбора, но тут же капитулировал. Ложился в борозду и немедленно засыпал. Естественно, меня в конце дня, разбуженного и сконфуженного, некоторые жалели, но другие – и Паладурки были первые среди них – на язвительные замечания не скупились.

Честно говоря, уже не помню, кто меня заставлял ходить на прополку и заниматься этим постылым делом. Был ли колхозный труд для меня обязательным? Наверное, был: все мальчишки моего возраста, а некоторые и раньше, лет с шести, работали в колхозе. Но и родители к тому же меня побуждали. Они считали, что я ничем не лучше других. Другие работают – и мне нечего сидеть дома. Когда мои сверстники пойдут в армию, и мне от этого нельзя будет уклоняться.

Спартанское воспитание

Моим воспитанием, так же как и учением, мало кто занимался, но все-таки я испытал влияние сначала тети Ани и бабушки, а потом больше отца, чем матери. Воздействие, которое можно было бы назвать воспитанием, в наиболее регулярном виде оказывалось на меня в три коротких периода моего детства: на хуторе, в Управленческом городке и теперь в вологодской деревне. В основе воспитания была идеология честной бедности. Надо много трудиться, но быть честным, то есть бедным. Честные люди небедными не бывают: «От трудов праведных не нажить палат каменных». Мои родители всю жизнь жили только на зарплату, всегда такую маленькую, на которую по общепринятому убеждению жить нельзя. Сбкркнижки у нас не водилось, как она выглядит, я потом, когда жил в городе, знал только по рекламным плакатам: «Брось кубышку, заведи сбкркнижку!» Денег ни у кого не одалживали, потому что отдать было бы нечем. Честность, бедность, неприхотливость и гордость – вот четыре состояния, почитавшиеся в нашей семье. И они же – основа здоровой жизни.

Отец с удовольствием читал мне стихи Бернса в переводе Маршака: «Кто честной бедности своей стыдится и все прочее, тот самый жалкий из людей, трусливый раб и прочее».

Старания заработать побольше денег, купить хорошую мебель, одежду, а тем более украшения вызвали у моих родителей презрение и насмешку. Отец вообще считал кольца, серьги, бусы, браслеты и всякие побрякушки признаком дикарства.

Когда он сидел в лагере, я часто просил маму красить губы, и она это делала. После того как он вернулся, я на губах ее помады уже никогда не видел.

Я уже говорил, что отец мой, хоть и мало учился, многого достиг самообразованием. Но, сам не получив систематического образования, он о том, чтобы его получил я, не беспокоился. Главной его заботой было, чтобы я закалял волю, терпел всякие неудобства, трудился и не вырос белоручкой.

Он всегда приводил мне примеры из жизни великих, которые не чурались простого труда: Толстой пахал землю, Чехов был доктором, Грин – моряком, Паустовский работал трамвайным кондуктором. Князь Святослав вместо подушки использовал седло, Суворов всегда спал на жестком, Наполеон укрывался шинелью. В дело моего воспитания шли разные легенды. Например, о Муции Сцеволе, который поразил врагов тем, что на их глазах сжег собственную руку и не поморщился. Или вот еще. Спартанский мальчик украл где-то лисенка, спрятал за пазуху и понес домой. По дороге встретил учителя. Учитель остановил его и стал о чем-то спрашивать. Мальчик отвечал. Тем временем лисенок начал вгрызаться ему в живот. Мальчик продолжал разговор с учителем, лисенок выгрызал его внутренности, а он не подавал даже виду, что ему очень больно. Слушая это, я испытывал комплекс неполноценности. Пахать землю мне было интересно, но я не хотел подкладывать под голову седло, руку сжигать вряд ли бы отважился, она у меня не лишняя, а если бы лисенок у меня выгрызал кишки, я вряд ли мог бы улыбаться учителю. Конечно, родители и не ожидали от меня готовности к столь великим подвигам, но беспокоились, чтобы я не позволял себе лишнего, довольствовался малым, на всем экономил. Меня ругали за то, что я при ходьбе ногу ставлю неровно, поэтому слишком быстро стаптываю ботинки с внешней стороны. Я старался ставить ноги ровно, но моих стараний хватало на несколько шагов. Дальше я начинал думать о чем-то другом и шел как попало. Меня учили не ерзать на стуле – протираются штаны, и сам стул надо было беречь, не раскачивать. До шестнадцати лет я всегда ходил летом босиком. Потом еще года два носил тапочки, которых надолго не хватало, и от выброса старых до покупки новых опять ходил босиком. Меня учили также не брать чужого, ничего не хватать первым, уступать всем все, что возможно. А еще не обижать младших, не наущничать. Драться иногда можно, но при этом ниже пояса не бьют, двое одного не бьют, лежачего не бьют, меньших не бьют... Кого ж тогда бьют? Меньшего бить нельзя, а большего невозможно. Для меня было потрясением, когда я, уже в Запорожье, увидел в первый раз (но не в последний), как десятеро больших бьют одного маленького и лежачего – и ногами, и ниже пояса, и в зубы, и в глаз, и в нос, и по печени, и по почкам.

Язык, понятный телятам

Тот, кому когда-нибудь приходилось пасти скот, знает, что проще всего управляться с коровами. Среди них попадаются порой неуравновешенные особи, норовящие ткнуть вас в бок рогом или перевернуть во время дойки ведро с молоком, но в основном это существа мирные, смирные, с хорошо развитым стадным инстинктом. Они вдумчиво щиплют траву, медленно передвигаются с места на место, друг от друга далеко не отходят и, насытившись, долго лежат, отдыхают. Пастуху можно и самому полежать в сторонке с книжкой, подремать или помечтать, и лишь время от времени приходится погоняться с хворостиной за отбившейся от стада буренкой.

Пас коров я всегда с книгой. Доводил стадо до нужного места и, подстелив телогрейку, ложился на траву, а если получалось, на копну сена или соломы. Целыми днями лежал, читал книги, лишь изредка поглядывая, все ли в порядке. К вечеру пригонял их обратно. Кстати, возвращение стада в деревню – момент трогательный и даже почти торжественный. Коровы идут сначала не спеша, как им и полагается, но при приближении к деревне ускоряют шаг, переходят даже на бег, торопятся к своим домам, к своим хозяйкам – соскучились.

Но я начинал не с коров, а с телят, к которым приставлен был после мучительного опыта на прополке. Там я быстро засыпал в борозде, здесь же было не до сна. Телята от своих взрос-

лых сородичей сильно отличаются. Это ребята хулиганистые. Ранним утром, когда солнце только взошло и воздух прохладен, они ведут себя более или менее прилично. Но едва солнце поднялось повыше, появились и стали кусаться слепни, телята возбуждаются, задирают хвосты и – сначала в лес, на опушке которого я их пас, а там уже врассыпную. Чтобы найти каждого и согнать всех обратно в стадо, надо бегать весь день без передышки. До сих пор удивляюсь, как удавалось привести их в деревню всех.

Мой двоюродный брат Эмка по малолетству не работал, но имел о телятах определенное мнение.

– А как ты с ними разговариваешь? – спросил он однажды.

– С кем? – не понял я.

– С телятами.

– Ты что, дурак? – удивился я. – Как можно разговаривать с животными? Это у тебя в сказках они разговаривают, а мои телята человеческого языка не понимают.

– Очень хорошо понимают, – возразил Эмка. – Ты, когда за теленком бежишь, кричи ему...

Он продемонстрировал, что именно я должен кричать, и получилось это у него не хуже, чем у возившего навоз старика Проворова.

– Ну, как? – выждав паузу, поинтересовался Эмка.

Я его познания оценил высоко, но когда сам попробовал повторить то, что кричал Эмка, язык мой не желал повиноваться. Эмка удивился. Ему казалось, это очень просто – сказать так (он привел пример) или эдак (другой пример).

– А если не научишься, тебе с телятами не справиться, – предупредил он с такой уверенностью, будто сам когда-нибудь с ними справлялся.

При нем повторить то, что он кричал, я не мог, а без него попробовал. Долго это у меня не получалось, а когда получилось, я увидел, что и тут Эмкин урок оказался полезен: язык, которым я овладел, в сочетании с хворостиной на телят подействовал.

Работая на прополке, я зарабатывал не больше четверти трудодня за смену, а за телят – по три с половиной. Три с половиной взрослой нормы! Столько же я получал потом, работая на машине под названием «ВИМ», что расшифровывалось просто: «Веялка и Молотилка». Там была работа другая, конвейерная. Мне кидали сноп, я перекидывал его дальше. Такая работа лишь кажется скучной, но когда в нее втянешься, испытываешь то, что называется мышечной радостью. Она захватывает. Но и изматывает. Не зря и ее оценивали в три с половиной нормы. Так что осенью, когда колхозникам выдавали зерно, картошку и капусту, мне тоже что-то перепало.

По законам военного времени

В Назарове у меня вскоре появился новый друг – Толик Проворов, сын того старика Проворова (может, он не такой уж был и старик), который возил на лошади навоз и больше других матерился. Почему-то в детстве моими друзьями чаще всего становились мои сверстники, носившие имя Толик. Этот Толик вместе со мной окончил четвертый класс, и в конце августа мы отправились записываться в пятый, в школу-семилетку, уже не в полутора, а в семи километрах от нас, в поселке, называвшемся так же, как и речка, Тошня.

Нас принял директор школы – неопрятный человек с всклокоченными волосами и постоянно спадающими штанами.

– Значить, вы обое, так скать, хотите учиться далее? – спросил он, подтягивая штаны. – Ну, что же, это очень хорошее, так скать, намерение, потому что советские дети должны хорошо учиться, особенно в периуд, так скать, напряженной смертельной войны с немецко-

фашистской сворой. Твой отец, – он ткнул в меня пальцем, – булгалхтер, и эта профессия нам тоже крайне необходима. А ты лично кем хочешь стать: летчиком или танкистом?

Имея столь ограниченный выбор, я сказал, что стану, пожалуй, летчиком, чем заслужил его одобрение. Толик же пожелал стать зоотехником.

– Тоже хорошо, – похвалил директор. – Летчик или танкист – это хорошо. Но нам же в мирное, так сказать, время понадобятся не только летчики и танкисты. Кому-то ж надо будет и в мирное время сеять хлеб, варить сталь и ухаживать за скотом. Так что первого сентября приходите. Будем вас кое-чему, так сказать, учить.

Незадолго до того мои родители съездили в Вологду, продали там полученную на трудодни капусту и купили мне замечательные сапоги-бурки с кожаным низом и войлочным верхом и общую тетрадь в коленкоровом переплете, что было тоже немалой ценностью. До этого в четвертом классе мы решали задачи и писали диктанты в блокнотиках, сшитых из этикеток для сгущенного молока, которое делали в находившемся от нас через речку поселке Молочное. Одна сторона у этикеток была синяя, зато другая – белая, вполне пригодная для использования в качестве тетради.

С общей тетрадью, положенной за пазуху (портфеля не было), и в шикарных своих бурках я отправился на первое занятие, надеясь, что и дальше буду учиться. Но два события помешали мне это осуществить. Сначала, еще по дороге в школу, развалились бурки. Оказалось, что они сшиты гнилыми нитками и голенища тоже гнилые. Я не сразу понял, что дело не во мне, а в самих бурках, и испугался, что меня родители будут за них ругать.

Второе событие: мы с Толиком во время перемены между первым и вторым уроками затеяли средневековое сражение на пиках. В качестве пик нами были выдернуты из директорского забора два железных прута со сплюснутыми и заостренными концами.

О нашем сражении донесли директору, тот выскочил на улицу и попытался схватить нас обоих за уши. Это ему не удалось. Тем не менее он привел нас к себе в кабинет, где объявил врагами народа.

– Вы, – сказал он, тыча поочередно пальцем то в Толика, то в меня, – фулюганы и пособники немецко-фашистских захватчиков. Вся наша страна, так сказать, перевозмогая и истекая кровью, сражается с неподсильным врагом, а вы тем временем портите социалистическое имущество. Вы знаете, что это значит? Это значит пятьдесят восьмая статья – вредительство. Всё, вы обое исключаетесь со школы, и чтоб я вас здесь более, так сказать, не видел...

Я вернулся домой огорченный. Хоть боялся, но рассказал родителям правду. Однако, как я заметил, их мое исключение не очень огорчило, и за бурки они меня ругать тоже не стали.

Через некоторое время от директора школы принесли записку, из которой следовало, что я должен посещать занятия. О причине моего непосещения ни слова не говорилось, и родители решили, что я останусь дома. Пришла вторая записка, в которой я предупреждался, что, если не явлюсь в школу, буду исключен. В третьей записке директор угрожал, что, если я не явлюсь, буду судим по законам военного времени. Родители успокоили меня, что угроза пустая, никакими законами не подкреплённая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.